



КАТРИН
ШАНЕЛЬ

Потерянная,
обретенная

Все о моей
великой матери

Катрин Шанель

Потерянная, обретенная

текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6353701

Катрин Шанель. Потерянная, обретенная: Эксмо; Москва; 2013

ISBN 978-5-699-67375-9

Аннотация

Малютку Катрин, живущую в приюте, считают либо умалишенной, либо попросту белой вороной. И это неудивительно! То ей является умерший брат Октав, который ласково зовет ее Вороненком, и это прозвище кажется ей знакомым. То ее сознание вдруг затуманивается, и она видит себя в комнате с красивыми обоями, где на столах лежат дорогие материи, а между столами расхаживают важные дамы в шикарных платьях... Девочка чувствует, что ее мать жива, и принимает решение во что бы то ни стало найти ее! Велико же было ее изумление, когда она узнала, что ее матерью является не кто иной, как блистательная Коко Шанель! Но великие женщины, как правило, обладают суровым нравом – поначалу мадам Коко не верит бедной девушке, называя ее ловкой мошенницей...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	24
Глава 5	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Катрин Шанель

Потерянная, обретенная

Глава 1

– Положите дитя, сестра Мари-Анж. Нам пора на молитву.
– Но, сестра Анна, она...
– Положите! Этой бедняжке не стоит привыкать к тому, чтобы все ее капризы исполнялись немедленно. Она сухая, чистая. Сейчас придет кормилица. А мы пока будем молиться за бедного ребенка.

Голос этой женщины – сталь в бархатных ножнах, ее пальцы тверды, словно гвозди, подол серого платья свистит по каменному полу. Испещренное морщинами лицо печально и непреклонно. Луч закатного солнца из высокого стрельчатого окна бьет ей прямо в глаза, но она даже не шурится. Уверенно берет младенца из рук другой женщины, помоложе, с гладким румяным личиком, но в таких же темных одеждах. Кладет дитя в кроватку и делает произвольный жест, словно отряхивая ладони. Сестра Анна брезгует маленьким человеческим существом, ей не нравится сморщенное личико девочки, неприятен исходящий от нее теплый кисловатый запах, запах жизни. Женщина устала от всей той боли, которую видела на своем веку, устала от смерти, устала от самой жизни. Ей давно безразличны дети, птицы, аромат цветов – все это не стоит любви, потому что рассыплется в прах, умрет, забудется. Она любит только бога – всевидящего, карающего, вечного, далекого. Сестра Мари-Анж еще не успела устать, ее душа юна и отзывчива. Она тоже любит бога, но другого – милосердного, доброго, всепрощающего. Ее бог – в пении птиц, в улыбке ребенка, в ласке солнечного луча. Он рядом. С этим богом, пожалуй, можно договориться. А вот от бога сестры Анны нужно держаться подальше.

Сестры уходят, осторожно прикрыв за собой дверь – не ради спящих подкидышей, а по привычке. В общине все ходят бесшумно, движутся плавно, говорят шепотом. Должно быть, боятся потревожить бога сестры Анны, чтобы не покарал. В большой комнате с белеными стенами стоит не менее пятнадцати детских кроваток, но ни из одной не слышно плача.

Подкидыши и сироты знают: никто не придет. Никто не утешит, не прижмет к груди. Да и много ли радости в иссохшей груди дочери милосердия! «*Mea culpa, mea maxima culpa*», – повторяет каждая из них в покаянной молитве, трижды, как положено, ударяя себя в грудь. И от этих непрерывных ударов грудь становится плоской, а душа сгорает в огне милосердия. Сестры следят за физической и нравственной чистотой вверенных им детей, кормят из рожков, приучают к труду, наставляют в вере и добродетели. Вот только ласки от них не дождешься. А если какая-нибудь не утратившая нежности сестра начнет проявлять хоть чуточку любви к одной из воспитанниц, окружающие тотчас ее одернут. Настоящая дочь милосердия должна ровно относиться ко всем страждущим, никого не выделять и любить всех!

Любящий всех – не любит никого.

Но, может быть, кормилицы? Самые слабые, болезненные и недоношенные младенцы получают особую привилегию: им нанимают кормилицу, как правило, из ближайшей деревни. Многие из этих женщин совершают грех нарочно, чтобы получить место. На что дочери милосердия смотрят сквозь пальцы. Их дело прощать, а не осуждать. Раньше сестры отдавали детей прямо в деревню и одновременно платили приличную сумму за вскармливание и воспитание ребенка до конфирмации. Но до нее несчастные сиротки, как правило, не доживали. Кому охота столько лет кормить чужака, если денежки уже получены? Мла-

денцы мерли десятками, кто от дифтерии, кто от скарлатины – звать к ним доктора считалось напрасной тратой денег. Одних оставляли студеной зимой у открытой двери, у других от грязи во рту появлялись чудовищные язвы, из-за которых ребенок не мог есть и тихо угасал, у третьих вздувались животы. Наконец, девица Мазель со своей матушкой просто-напросто топили ребят в корыте, из которого пила скотина. Маленькие могилки вырастали на сельском кладбище, как грибы после дождя.

В конце концов сестры, испуганные масштабами бедствия, прикрыли эту фабрику ангелов и ввели новые правила. Хочешь заработать на своем молоке? Приходи в приют сама и корми ребенка там, а потом убирайся, небось ноги не оттопчешь. Равнодушные мордастые девки лениво являются, суют вымя младенцу, клюют над ним носом, потом так же равнодушно прячут грудь в платье и исчезают. Ни ласкового слова, ни нежного прикосновения ребенку не перепадает, никто не промывает ему теплым грудным молоком заложенный носик, не гладит животик, не поднимает столбиком, чтобы срыгнул. Дома у кормилицы тоже есть ребеночек, да только тот родной, свой человечек, ему и любовь, и ласка – а как же? Ведь если он заплачет, сердце кровью изойдет. А если этот плачет – только раздражение нарастает. Чего он скулит, щенок?

Поэтому подкидыши не плачут.

Только девочка в кроватке у окна ерзает и воркует, как голубица. Она ловит пухлыми пальчиками солнечный луч и хочет удержать это теплое чудо, отсрочить длинную, холодную, одинокую ночь.

Я знаю это наверняка.

Эта девочка – я.

Я помню свою жизнь с первой минуты, с первого вдоха. Не умея поначалу понимать и анализировать окружающий мир, я просто впитываю душой все хорошее, чем одарила меня судьба. Любовь матери, дружеская нежность брата, солнечный свет, сладость молока и особенный, прохладный, чистый запах, исходящий от каменных стен общины. Дурное же я отвергаю, не принимаю в душу. Насмешливые товарки, равнодушно-приветливые сестры, простая одежда, грубая пища, строгий распорядок дня, усталость после долгой службы – все это я оставляю за пределами сознания. Из-за чего приютские девчонки зовут меня «блаженненькой» и не берут в компанию.

Я словно лежу на океанском дне, а сверху волнами пробегают дни и годы. Звуки и события внешнего мира не доходят до меня сквозь толщу воды. Я говорю так мало, что кажусь глухонемой или умалишенной. Но я не сумасшедшая и даже не особенно глупая. Я понимаю все, что происходит вокруг, наблюдаю, анализирую. Порой мне трудно отличить свои сны и видения от реальности, но поскольку я ни с кем не разговариваю, не считая своего брата-близнеца Октава, об этом никто не догадывается.

Я просыпаюсь для мира после своего одиннадцатого дня рождения, который проходит незамеченным. В приюте викентианок праздники не приняты, и этот день ничем не отличается от других.

Нас выводят на прогулку в садик. Впрочем, это только так называется – садик. На самом деле мы выходим в настоящий старый монастырский сад, окруженный высокой, оплетенной хмелем стеной. Там волшебным благоухают цветники, а дальше стоят плодовые деревья. Дочери милосердия не ожидают слишком щедрых пожертвований на сирот и стараются заработать своими силами: растят фрукты, цветы, ставят теплицы для ранних деликатесных овощей. Почти каждый год к воротам старого сада подъезжают возы, на которые грузят, в зависимости от сезона, маргаритки, фиалки или пышные розы, или вороха белой и лиловой сирени. Выносят ящики с фруктами: персики, яблоки, груши, мелкая желтая марель, густо-лиловые сливы. Девчонки сбиваются в стайку и смотрят с завистью, тихонько глотая слюну. Их привлекают не только фрукты – нам всегда дают к обеду персики или яблоки, –

но и торговки, важно восседающие на возах. Они броско, ярко одеты – а мы в общине так редко видим яркие наряды! Серые одежды и белоснежные накрахмаленные головные уборы сестер, наши собственные черные миткалевые платица, мешковатые, попахивающие пылью и плесенью... А тут – розовые, синие, лимонно-желтые платья; туго натянутые на толстых икрах чулки; кружевные косынки, целомудренно повязанные на шее или задорно – на голове, с непрямым бантом на лбу. А какие украшения! Коралловые крестики на черных бархатных ленточках, сверкающие поддельными бриллиантами брошки, часы на золотых цепочках!

– Какие они красивые! – восхищенно шепчет рыжая дуреха Виржини, прижимая к груди ручонки в цыпках.

Я знаю, о чем она думает. Виржини вспоминает, как в прошлый понедельник на одном из таких возов уехала в город Полина, толстая, румяная, не по годам серьезная девочка. Она неторопливо расхаживала вокруг одного из возов, подбирала морковки и репки, оброненные при погрузке, и укладывала обратно в кучу. Губы ее при этом шевелились, хорошенькое личико было уморительно важным. Торговка, матушка Палетт, некоторое время наблюдала за ней, а потом расхохоталась, подхватила Полину на руки и расцеловала в обе щеки. Полина снисходительно позволила себя ласкать. Когда же матушка Палетт опустила девочку на землю, та скромно утерлась и поцеловала ей натруженную руку. Конечно, сердце торговки растаяло, она немедленно пошла к сестрам, и через три четверти часа Полина уже сидела на возу, все такая же важная и невозмутимая, держа, словно жезл, крупную морковь. Матушка Палетт будет заботиться о ней, научит ремеслу, а потом завещает ей свою зеленую лавку на рынке, и Полина станет торговать овощами. Она будет продавать салат и лук-порей, шпинат и щавель, артишоки и бобы, кочаны капусты – белые, похожие на осенние хризантемы, и красные, напоминающие невиданно крупные пионы. Продавщицы и приказчики из универмагов, портнихи из мастерских, работницы и работники с фабрик – все будут забегать к ней в свой обеденный перерыв, чтобы купить пучок свежей редиски или фунтик жареного картофеля, пересоленного и залитого маслом! Полина выйдет замуж за толстого розового мясника... *А его потом убьют на войне, думаю я...* и будет счастлива всю жизнь. Но хотела бы я себе такого счастья, как у Полины?

Нет.

А вот Виржини – хотела бы. Она из кожи вон лезет, чтобы хоть кто-то из торговки обратил на нее свое благосклонное внимание. Но девочка слишком мала ростом, худа, некрасива. Толстуха Полина тоже не была красавицей, но она выглядела здоровой и крепкой, такой ребенок для лавки – все равно что живая вывеска. Болезненную Виржини торговки к себе не возьмут, ей нечего и мечтать.

Но она мечтает. Прижимает к груди руки и мечтает о белоснежном переднике, кружевной косынке, бриллиантовой броши. Мечтает быть красоткой-цветочницей – царить в сумрачной, налитой ароматами цветов лавочке, где ее, может быть, увидит бравый военный и влюбится с первого взгляда! Уже сейчас Виржини играет в цветочную лавку, предлагает мне купить чахлый одуванчик. И еще она знает один секрет, который может сказать только шепотом на ухо.

Мне смешно. Я знаю, что секрет Виржини – какая-нибудь глупость, как и мечты Виржини. А еще я знаю тайный ход в сад, не боюсь его тенистых троп и уже изведала, каковы на вкус ранние белобокие персики. Остальные же довольствуются тем, что пекут пирожки из грязи с начинкой из выросшей у ограды травы.

Я выжидаю момент, чтобы улизнуть в сад, где должна встретиться с Октавом, но Виржини прицепилась ко мне, словно пиявка. Она хочет, чтобы мы вместе «пекли пирожки». Виржини – одна из немногих девочек, которые хотят со мной играть. Признаться, я от нее

не в восторге. У нее дурно пахнет из ушей, и стоять рядом не очень-то приятно, но я стараюсь быть к ней доброй.

– Я не могу сейчас с тобой играть, – объясняю как можно мягче. – Мне нужно кое с кем увидеться.

– Тебя звала сестра? – удивляется Виржини.

– Нет.

– Ты решила дружить с Луизеттой?

Луиза немного старше нас. Она и ее подружки – самые несносные в приюте. На беду, их очень любят дочери милосердия и называют «наши маленькие сестры». Эти девчонки ходят, опустив глаза, все время молятся и твердят о своем желании, когда вырастут, непременно стать сестрами милосердия, а то и монахинями. Луизу нарочно обучили некоторым фокусам, чтобы приводить в восторг попечителей. Например, сестра спрашивает притворную богомолку:

– Скажи нам, Луизетта, какое лакомство ты любишь больше – сливочные тянучки или миндальные пирожные?

– Больше всего я люблю Святую Деву, – самым елейным тоном отвечает Луизетта и получает свою порцию похвал. И лакомств, разумеется.

По утрам Луиза всегда рассказывает свои сны, в которых неизменно фигурируют прекрасные святые, сходящие к ней с небес, сама Святая Дева, приезжающая к воротам общины в золотой карете, цветущие лилии и пение ангелов. Может быть, она в самом деле все это видит, я не знаю. Но во что бы я, интересно, могла играть с Луизой? Меняться четками? Слушать, как она повторяет, словно попугай, истории сорока девственниц, явно не понимая ни слова? Или примкнуть к группе ее подражательниц, которые заглядывают Луизетте в рот и всячески стараются примазаться к ее славе?

– Ну уж нет! – смеюсь я.

– Ты злая! – вдруг плаксиво восклицает Виржини. – Ты гадкая девчонка! Зачем ты надомной смеешься?

Я смеюсь вовсе не над ней, но пуститься в объяснения не успеваю – Виржини шипит, как гусь, и щиплет меня за руку выше локтя. Она щиплется больше всех в приюте. В мои планы не входит драться с этой дурехой, поэтому я бросаюсь прочь, а она кричит мне вслед:

– Я знаю! Я все знаю! Я знаю, куда ты бегаешь! И знаю, что ты прячешь в сундучке!

Но я пропускаю ее вопли мимо ушей. Что она может знать?

Сначала мне нужно проникнуть сквозь густо растущий у стены шиповник. Его шипы нещадно раздрают платье, которое я только вчера заштопала. Сестры приучают нас держать в руках иголку. Я рву свою одежду чаще остальных, поэтому уже достаточно поднаторела, и штопка получается почти незаметной.

Я храбро продираюсь сквозь заросли, и вот уже рядом замшелая, увитая плющом стена. Она выглядит совершенно неприступной, но я-то знаю про секретный ход, прорытый под каменной кладкой. Я замаскировала его ветками и листьями. Может быть, его прорыли кролики? Или лисы? В любом случае, лаз достаточно широк, чтобы я в него протиснулась. На той стороне растут уже настоящие розы, а не захудалый шиповник. Как они пахнут! Я притягиваю к лицу огромный бархатно-красный цветок, вдыхаю его аромат и вдруг слышу тихий смех и вижу брата, ласково глядящего на меня сквозь зелень. Мне хочется прыгать и хлопать в ладоши от счастья, но я боюсь себя выдать и потому кидаюсь навзничь в густую траву и закрываю глаза. Это такая игра. В ту же минуту я чувствую, что Октав садится рядом.

– Привет, Вороненок, – говорит он. Он называет меня так, потому что волосы у меня совсем черные, в синеву, словно вороново крыло.

– Я так скучала по тебе! – отвечаю шепотом.

– Мы не виделись всего один день, – возражает он.

– Целый день! – поправляю я.

– Хорошо, целый день, – соглашается он. – И целую ночь. Как ты спала? Чем вас кормили сегодня?

– На обед было говяжье рагу и рисовый пудинг. Ужасная гадость, как будто клей! Скажи, а ты помнишь, как наша мама пришла и принесла нам огромную коробку марципановых фруктов?

– Я помню, что ты ими объелась и у тебя болел живот.

Я тихонько смеюсь.

– Ничего подобного. Это у тебя болел живот, и тебе пришлось принять противную микстуру. Но мама совсем не сердилась.

– Она никогда на нас не сердится.

– Расскажи мне еще про нее, – прошу я, перевернувшись на живот и глядя, как божья коровка ползет по стебельку.

– Я помню не больше, чем ты.

– Больше! – возражаю я. – Ты же на десять минут старше меня, Октав. Значит, ты помнишь ее на целых десять минут дольше.

– Что ж. Слушай, Вороненок. Наша мама... Она самая красивая на свете. У нее нежная шея, длинные пальцы и черные глаза, а смеется она так, будто звенит золотой колокольчик. Но в жизни ей приходится нелегко, она должна сама пробивать себе дорогу, никто ей не помогает.

– И поэтому она бросила нас здесь? Потому что мы для нее обуза? А может быть, она давно уже умерла и поэтому не приходит за нами?

Октав умолкает.

– Ты так не думаешь, – его голос звучит печально. – Мама не умерла. И мы для нее не обуза. Просто ей нужно время, чтобы устроиться в жизни. А потом она нас заберет, и мы вместе проживем счастливо. Она будет шить чудесные платья, ты станешь во всем ей помогать...

– А ты, Октав? Чем бы ты хотел заниматься?

– А я хотел бы сидеть вот так и смотреть на тебя. Всю жизнь. Целую вечность.

Из моей груди вырывается счастливый вздох. Он такой милый, мой брат! Иногда мы ссоримся, но все же он ужасно милый. Что бы я без него делала?

– Что бы я без тебя делал? – произносит он, словно прочитав мои мысли. – У меня никого нет, кроме тебя, Вороненок. Никто не хочет со мной разговаривать. Никто меня не замечает.

Тут я слышу голос сестры и сразу – детские голоса, выкликающие мое имя. Меня хватились, меня ищут!

– Тебе пора? – спрашивает Октав.

– Да. Но я не хочу уходить.

– Почему? Мы ведь завтра увидимся.

Нет, не увидимся.

– До завтра?

– До завтра.

Чтобы помочь перебраться через канаву, Октав поддерживает меня за руку повыше локтя. Я вскрикиваю от боли и, отвернув рукавчик, показываю ему большой синяк от щипка Виржини.

– При случае я ее вздую! – обещает Октав. – Мало не покажется! Никто не смеет обижать моего Вороненка!

Он поднимает из травы и кладет мне на ладонь слегка побитую, сочащуюся соком сливу. Я быстро целую его в прохладную щеку и ныряю в подкоп.

– Где это ты была?

Сестра Агнесса смотрит на меня с удивлением. Стоило ей отвернуться, как я словно бы выросла из-под земли. Она глядит поверх моей головы, туда, где на тонкой веточке дрожит огромный цветок шиповника.

– Играла в прятки, – отвечаю тихо, стараясь выглядеть благонаправной маленькой девочкой. Но что-то меня выдает – или божья коровка, ползущая по волосам, или разорванный рукав платья, или крупная слива, которую я бережно, словно птенца, держу в кулаке.

– Что это у тебя, дитя мое?

Разжимаю пальцы. Слива падает в траву. Сестра Агнесса близорука, но не носит пенсне – считает, что не стоит исправлять волю божью. Она могла бы и не заметить сливы. Но вышло иначе. Сестра сделала два шага, наклонилась, взяла меня за руку. Моя ладонь перепачкана желтым, дурманно пахнущим соком. Я пытаюсь вытереть ее о передник, но сестра Агнесса не позволяет, тянет ладонь к лицу, к своему мясистому носу, вдыхает аромат... Ее брови сходятся на переносице.

– Иди за мной, – говорит сестра Агнесса.

Я жду немедленного наказания, жду какой-то страшной кары, но сестра только прикалывает вымыть руки, а потом говорит:

– Не забудь завтра упомянуть на исповеди о том, что украла сливу из сада. А теперь иди и перемени передник.

Я киваю, не сдерживая вздоха облегчения. Я не крала сливу, но вполне могу взять грех брата на себя. Старый кюре очень добрый. И Агнесса не так уж плоха. Есть сестры, которые любят распускать руки и чуть что щелкают сирот по макушке костяшками пальцев. «Если до тебя иначе не доходит, придется вколотить тебе это в голову, для твоего же блага», – говорят они, но чувствуют иначе. Многие дочери милосердия давным-давно забыли своего родителя.

Я бегу к сестре-кастелянше за чистым передником, но по пути сворачиваю в дортуар. Там непривычно тихо, пятнадцать узких кроватей застелены одинаковыми марсельскими одеялами. Я подбегаю к своей и выдвигаю из-под нее сундучок, подаренный дамой-патронессой на прошлое Рождество. Нарядный сундучок, синий, оклеенный золотыми звездочками. В нем всякая дребедень: ленточки, пуговицы, карандаши, цветы, несколько мелких монет – все то, что мне подарили, что я нашла или выменяла у других девчонок. Это мое имущество, движимое и недвижимое, наследственное и благоприобретенное. А самое главное сокровище завернуто в кусок ткани и спрятано под кучей слащавых открыток и картинок с овечками, выданных мне в награду за послушание. Это гипсовая фигурка архангела Габриэля. У меня даже дыхание перехватывает, когда я его вижу. У него каштановые кудри, темно-синие глаза и розовый рот. Его лицо идеально. Он так строго и ласково смотрит на меня! Голубой плащ, белые крылья, в руке – золотая лилия. Я прижимаю фигурку к груди и, осыпая ее горячими поцелуями, шепчу слова любви и благодарности. Левая рука Господа! Принц Ангелов! Повелитель огня и снега! Как он прекрасен! Как я люблю его! Особенно сейчас, когда над ним нависла неведомая опасность!

Вдруг я слышу шорох у дверей. Там стоит Виржини и хихикает в кулачок.

– Что ты смеешься? – моим щекам горячо, и я понимаю, что покраснела. Но я же не сделала ничего плохого!

– Смотри, не слижи с него краску, – советует Виржини.

Конечно, теперь я понимаю, что Габриэль, к которому я так привязалась, – всего лишь гипсовая статуэтка, ярко и аляповато раскрашенная. Но тогда она была настолько дорога мне, словно не золотую лилию держал в руках архангел, а мое глупое, слишком много знающее сердце! И я не стерпела – кинулась на Виржини с кулаками. Мы долго и неумело деремся. Наконец я одерживаю верх, Виржини сдается, начинает хныкать, пятиться... И вдруг толкает меня так, что я отлетаю к своей кровати.

Хруп.

Застыв, сижу на полу.

Не верю в невозможное, ужасное горе.

Виржини останавливается, как громом пораженная, на лице у нее страх.

– Катрин... Твой архангел... Прости! Я не хотела. Ты сама...

Я вижу фигурку в голубом плаще, а голова святого отломалась и закатилась под кровать. Я достаю ее, крошечную, круглую. Краска с розовых губ слегка облупилась, и теперь Габриэль не улыбается, а страдальчески кривит рот. Мне хочется заплакать, но от злости нет слез. Я поднимаю глаза на Виржини и говорю:

– Ты умрешь.

Мне вовсе не хочется ее обидеть или сказать что-то злое. Я просто говорю то, что знаю. Это знание жжет меня изнутри, и я должна им поделиться. Мне очень жаль Виржини. В эту секунду я вижу всю ее маленькую, бессмысленную жизнь. Ее произвела на свет туповатая рыжеволосая служанка. Отец Виржини, мелкий чиновник, не отказывался от отцовства, но совершенно не хотел жениться на собственной служанке и еще меньше того – держать малютку в доме, где он отдыхает от бессмысленной служебной волокиты. Он вносит за девочку плату в приют, но никогда не навещает дочь. И матери тоже нет до Виржини ни малейшего дела. Она даже была бы не прочь окончательно избавиться от обузы в лице незаконнорожденного ребенка...

– Ты умрешь.

С оглушительным ревом Виржини выбегает из дортуара. Я остаюсь одна и никак не могу понять, что это на меня нашло.

Глава 2

На другой день идем к исповеди. Наш кюре совсем старенький и очень добрый. Он никогда не грозит страшной карой за грехи и накладывает не очень-то строгие взыскания. Иногда он просто засыпает в конфессионале¹. И порой до исповедницы доносится мерный, добродушный храп старенького кюре. Впрочем, к концу исповеди он всегда просыпается:

– Прочитайте девять раз молитву Ангелу Господню², дитя мое, – говорит кюре.

Он ждет, что я уйду, но я не ухожу. А начинаю, запинаясь и смущаясь, рассказывать, как целовала гипсовую фигурку архангела, как меня застала Виржини и что я ей сказала.

– Так, так, – ласково кивает кюре. – *Pessando promeremur*... Нет ничего дурного в том, чтобы любить святых и архангелов, хоть и с излишней горячностью, присущей вашему возрасту... Но вот подругу вы обидели зря. Обещайте мне помириться с Виржини.

Мне кажется, что кюре не так меня понял, но не рискую заговорить вновь. Он читает разрешительную молитву, и я только вздыхаю – исповедь не принесла мне радости.

Поэтому с особым нетерпением выбегаю из часовни и несусь к зарослям шиповника. И продираюсь сквозь него так отчаянно, словно за мной черти гонятся. Но... с разбега останавливаюсь.

Моего лаза нет!

Присев на корточки, исследую стену. Если не знать точно, где был подкоп, это место невозможно обнаружить. Лаз замурован мелкими камнями, накрепко спаянными между собой раствором. Я пытаюсь вынуть один камень, расшатываю его, словно зуб, ломаю ногти, царапаю пальцы...

Все тщетно.

Я задираю голову и вижу летящих в небе птиц. Оказывается, стена не так высока, как мне казалось. Я редко смотрела вверх. Конечно, по ней можно без труда подняться. Камни лежат неровно, словно ступени, только очень узкие. К тому же по стене вьется хмель, и я смогу за него держаться.

Решившись, ставлю ногу в тупоносом башмачке на камень, а пальцами цепляюсь за ближайшую щель. Поначалу все получается легко, но руки скоро устают. Под подошвами предательски скользит мох, а шершавые плети хмеля оказываются не очень-то надежными и к тому же сильно обжигают ладони. Чепчик свалился на затылок, его тесемки неприятно сдавливают горло. И все же ценой невероятных усилий я добираюсь до верха и удобно усаживаюсь на широкой стене. Тут мха еще больше, сидеть на нем – все равно что на мягкой зеленой подушке. Хорошо бы немного отдохнуть, но я боюсь, что меня заметят сестры.

Нужно продолжать путь, спускаться. Я поворачиваюсь, пытаюсь нащарить ногами какой-нибудь выступ, но делаю неловкое движение и чувствую спиной, как вкрадчиво, настойчиво тянет меня к себе пустота.

А потом я стремительно лечу вниз, мир сужается воронкой, не остается ничего – ни деревьев, ни неба, ни птиц, ни меня самой. В этом неумолимо сужающемся мире есть только крик Октава.

– Катрин!

И больше ничего.

¹ Исповедание грехов у католиков обычно происходит в специальной кабине, называемой конфессионалом (возможна исповедь и вне конфессионала). Конфессинал сконструирован таким образом, чтобы священник слышал исповедь, но не имел возможности видеть лицо говорящего (окошко кабины затянуто материей).

² *Ангел Господень* (лат. *Angelus Domini*) – католическая молитва, названная по ее начальным словам. Состоит из трех текстов, описывающих тайну Боговоплощения, перемежаемых молитвой «Радуйся, Мария», а также заключительных молитвенных обращений к Деве Марии и Богу-Отцу.

Когда я открываю глаза, вверху не синее небо, а высокий каменный свод, и он быстро кружится у меня перед глазами. Как будто я продолжаю падать в бездонный каменный колодец.

– Не надо, – шепчу я. Закрываю глаза и чувствую заботливые руки, которые поправляют одеяло, подносят к губам стакан с питьем. Но пить я не хочу, слишком болит спина, болит голова, болит все тело, и меня тошнит от этого непрерывного вращения. – Не надо, пожалуйста!

– Тш-ш, – говорит ласковый голос. – Тебе нельзя разговаривать.

Это сестра Мари-Анж, самая добрая из всех дочерей милосердия. Она очень умная, училась медицине и работает в лазарете, ухаживает за больными и выздоравливающими. Вряд ли она тоже упала в колодец. Значит, меня принесли в лазарет. Но почему я ничего не помню?

Ах, да. Я же сорвалась со стены.

– И не открывай глаза. Как ты напугала нас, детка! Упасть с такой высоты... Тебе крупно повезло, что все кости целы. Но ты сильно ушиблась. Скоро придет доктор и основательно тебя осмотрит. Моих медицинских познаний хватает только на то, чтобы заподозрить сотрясение мозга. Если почувствуешь тошноту – вот тут ночной горшок. Хочешь чего-нибудь?

– Скажите Октаву, что я жива, – шепчу в ответ. – Он, наверное, ужасно перепугался, когда я упала со стены.

– Кому? – переспрашивает сестра Мари-Анж.

– Октаву. Моему брату. Я должна была повидаться с ним в старом саду.

– Иисусе, – шепчет сестра Мари-Анж, я слышу шорох, чувствую ее дыхание на своей щеке. Должно быть, она низко склонилась над моим лицом. Меня охватывает тревога, необъяснимое, тяжелое чувство. – Бедное дитя. Ты вся горишь, у тебя сильный жар.

Приехавший доктор, кроме сотрясения мозга, нашел у меня корь.

Вскоре лазарет был переполнен заболевшими, и сестре Мари-Анж стало не до меня. То погружаясь в темные волны бреда, то снова выныривая на поверхность реальности, я больше не решалась никого попросить, чтобы сходили и обо всем рассказали Октаву. Впрочем, думала я, до него наверняка донеслись слухи об эпидемии кори. Может быть, он и сам болен, заразился от меня. Тревога ледяной рукой стискивала сердце, и я начинала метаться по узкой кровати. Я боялась за брата, за его жизнь. Он был моей опорой, а теперь я сама должна стать опорой ему. Ведь он так хрупок, так бледен! Пальцы его холодны, голос печален. Он похож на принца из старых сказок, юного принца зачарованной страны...

Не скоро мне удалось подняться на ноги – раньше всех захворавшая, я проболела дольше остальных.

Хорошо помню то утро, когда мне впервые разрешили встать. На завтрак сестра Мари-Анж принесла омлет и кофе, потом помогла мне умыться и заплела косы. Она была в очень хорошем расположении духа, даже шутила. И мне захотелось поболтать с ней.

– Должно быть, сестра рада, что все девочки выздоровели?

По лицу сестры Мари-Анж пробегает какая-то тень.

– Не все, увы, – говорит она и склоняет голову. – На все воля Создателя... Наша милая малютка Виржини отошла к ангелам... Бедное, безгрешное дитя!

Как-то, сбегая по лестнице, я поскользнулась на только что вымытом полу и влетела в перила, причем точеный деревянный шар пришелся мне куда-то между грудью и животом. Помню безмерное удивление и не боль, но невозможность, невозможность сделать вдох.

Я пожелала Виржини смерти за то, что по ее вине разбился Габриэль.

Я пожелала ей смерти, и теперь она мертва.

Мне очень страшно, меня мучит чувство вины, и я даю себе обещание – никогда больше не желать людям дурного, работать для них, помогать сестрам в лазарете, проводить все свободное время в молитвах.

Но прежде чем приобщиться к сонму праведников, я должна повидать своего брата.

Конечно, пока я болела, никто не устроил новый подкоп. И мне не удалось украсть ключ от тяжелой калитки. И уж конечно, не хотелось снова лезть на стену, тем более что я все еще была слишком слаба, у меня даже дрожали ноги, как у новорожденного котенка, а в голове стояла хрустальная, ясная легкость.

Может быть, именно эта ясность помогла мне найти выход. Я снова пошла к сестре Мари-Анж и была кротка, как голубица, и ласкова, как кошечка. Я не отходила от нее ни на шаг, помогала прибирать в лазарете, стояла рядом на молитве, все время вздыхала и жалась к ней. Очень добросердечная по натуре, сестра вконец растрогалась и всячески старалась меня утешать. Наконец я смиренно сказала:

– Не согласилась бы сестра выпустить меня за внешнюю стену? После болезни мне хотелось бы погулять, посмотреть вокруг...

Вообще-то воспитанниц приюта не принято поодиночке выпускать за ворота, но в некоторых случаях это допускается. Например, некоторые девочки ходят гулять в деревню, пьют там парное молоко, навещают своих кормилиц, – считается, что они присматриваются к сельской жизни, что поможет им в дальнейшем адаптироваться к окружающему миру. В этом есть здоровое зерно. Одно дело, когда выпустившуюся из обители пансионерку встречают за воротами ласковые и обеспеченные родители, готовые подстраховать любой ее самостоятельный жизненный шаг, и совсем другое – когда ты сирота и некому постоять за тебя, кроме тебя самой. Впрочем, прогулки за оградой разрешаются девочкам постарше. Но сестра Мари-Анж не отказала мне сразу, она задумалась.

– А ты не заблудишься?

Я заверила ее, что только обойду вокруг ограды и вернусь обратно к входу. Сестра Мари-Анж выпустила меня не через ворота, а через маленькую калитку. И даже дала мне ключ, тяжелый, старинный, чтобы я, вернувшись со своей незаконной прогулки, тихонько заперла ее на замок.

– Только верни ключ мне, договорились? Мне одной. И не гуляй слишком долго! И ни с кем не говори по дороге! И не вздумай залезать на стену!

Я со всем соглашалась. Мне не нужно было слишком много времени, чтобы осуществить свой план: обойти вокруг стены и отыскать приют для мальчиков – ведь Октав всегда появлялся с противоположной стороны сада. Там я разужнаю о нем, а может, даже его увижу...

Вдруг я поняла, что ничего не знаю о том, как живет мой брат. Счастлив ли он? Есть ли у него друзья среди воспитанников приюта? Строго ли обращаются с ним наставники? Как ужасно, что я была такой эгоистичной и все говорила только о себе, а брата ни о чем не спрашивала!

Но я твердо решила исправиться. Травма и последующая болезнь раскрыли мне глаза. Мы так одиноки в этом мире, никто и не заметит, если мы умрем. Никому до нас нет дела. Мы должны держаться вместе. Должны дождаться, когда за нами придет мама.

Я иду дальше, чем могла себе представить. От слабости едва передвигаю ноги. Но все же – какое наслаждение выбраться из четырех стен! Я как птица, выпущенная из клетки. Мне хочется петь! И я даже начинаю мурлыкать какую-то мелодию, пусть и не слышала никакой музыки, кроме духовных песнопений.

Через ограду я вижу верхушки деревьев старого сада, вижу огромное старое ореховое дерево у самой стены. Октав не раз приносил мне его плоды, и руки долго оставались испач-

канными в несмываемом ореховом соке... Это дерево служит мне ориентиром. Значит, скоро я увижу место, где живет мой брат, а может быть, и его самого...

Что это? Я не понимаю.

Я вижу кресты, торчащие из земли, – словно много-много костелов ушло под землю, а кресты остались снаружи. А есть и холмики без крестов – ушли под землю дома? Некоторые давно – холмики покрыты травой; некоторые недавно – земля совсем свежая... И какие-то прямоугольные камни, на них написаны имена, изречения из Библии... *Sit tibi terra levis... Resurgam...*

И тут я поняла. Это кладбище.

Я стояла на кладбище!

Здесь лежали мертвые. Все те люди, которые были, но которых больше нет. Смерть – то, что случается с каждым. Человек просто перестает дышать, и его закапывают в землю, а душа улетает на небо.

Я увидела на одной из могил женщину. У нее были жидкие рыжие волосы, лицо распухло от слез, живот сильно выдавался под холщовым фартуком. Она стояла перед памятником, на котором было написано имя Виржини. Вероятно, ее отец, плативший за содержание незаконнорожденной дочери, не поскупился на приличное погребение. Белая могильная плита, пожалуй, слишком хороша для золотушной девчонки, никому не нужной при жизни... А эта некрасивая женщина – мать Виржини. Она пренебрегала живой дочерью, но пришла навестить, когда та уже лежит под землей.

И у нее скоро родится еще одна дочь.

Которую привезут сюда же, в приют.

– Катрин!

Мне казалось, что я отсутствовала всего несколько минут, но уже начало смеркаться, на траве появилась роса. Вдоль стены быстро шла сестра Мари-Анж, опираясь на трость – она прихрамывала.

– Катрин! Дитя мое, как вы долго! Я волновалась за вас.

– Простите, сестра, – сказала я и поднялась с земли. – Мне хотелось побыть здесь...

– Да-да, конечно, – сестра Мари-Анж приблизилась и погладила меня по волосам. – Но ты уже давно должна была вернуться. Ты сможешь прийти сюда еще, конечно, в свободное от занятий время.

– Сестра...

– Да, дитя мое?

– Я должна вас спросить... Если вы знаете... Скажите, моя мать... Она ведь не умерла? Я не сирота?

Сестра помолчала.

– Кто тебе сказал?

Я не ответила.

– Что ж, ладно. Рано или поздно ты должна была узнать. Она жива, дитя мое, но я ничего не знаю о ее местонахождении. Мы молимся о ней. Обещаю тебе, что когда ты немного подрастешь, одна из старших сестер, сестра Анна или сестра Агнес, расскажет тебе все, что тебе следует знать. А пока постарайся быть послушной, благонаправной девочкой. Договорились? Давай вернемся. У меня есть для тебя маленький подарок.

Я кивнула.

Сестра Мари-Анж оперлась на мое плечо, и мы пошли назад. В приют. Единственное место, которое я могла назвать своим домом.

Подарком оказалось то, что сестра Мари-Анж склеила фигурку архангела Габриэля. Возвращенный, целый, все такой же душераздирающе прекрасный, неизменно любимый, он

теперь не прятался в сундучке, а стоял рядом с моей кроватью. Вот только на губах у него так и застыло страдальческое выражение – вместо беззаботной и нежной улыбки.

С той поры как я увидела некрасивую, изработавшуюся, плачущую мать Виржини над ее могилой, мысли о моей собственной матери не оставляли меня. В какие-то минуты я даже жалела, что она жива. Право, лучше бы ей было умереть – тогда я тоже могла бы ходить к ней на кладбище. Я бы точно знала, кто она и где. Я бы верила, что она никогда не оставила бы меня по своей воле, верила, что только смерть могла разлучить ее со мной. Мертвые никогда не предадут, никогда нас не покинут.

После разговора с сестрой Мари-Анж я притихла, словно затаилась. Одинокая, опечаленная, дремала моя душа. Сестры стали учить нас ремеслу белошвеек. У меня получалось хорошо, лучше, чем у других девчонок. Онорина была мучительно близорука, Дениза не могла освоить простого шва, Адель умудрялась так испачкать белье, что, по словам сестер, его пришлось бы потом стирать щелоком. Я шила аккуратно, быстро научилась кроить, у меня обнаружился верный глаз и утонченный вкус. Более того, мне казалось, что я всегда занималась именно этим и ничем другим. Как во сне я видела узкую комнату с белыми стенами, где за столами сидели, склонив гладко причесанные головки, сироты, – и сквозь нее вдруг проступали другие помещения, в которых стены были оклеены красивыми обоями. В одной комнате, точно так же склонившись, сидели женщины и стояли черные манекены. Они вызвали у меня тревожное, неприятное чувство, и я постаралась скорее отделаться от этого видения, перейти в другое воображаемое помещение... Там на столах лежали штуки материи и важно, словно павлины, расхаживали пышно убранные дамы. О, какие на них были платья! Какие роскошные шляпы! Ленты, драгоценности, кружева! Я застывала, глядя перед собой в пространство, и приходила в себя, только когда меня окликали наставницы или толкали девчонки.

Однажды у нас была срочная работа – мы помогали готовить приданое какой-то богатой невесте и засиделись за полночь. Трудились при огнях, горели все лампы. Я пришивала кружевную тесьму к батистовым панталонам и слушала, как старенькая сестра Агата рассказывает о кружевах. Она сама была кружевницей, пока не начала слепнуть.

– Про кружево еще в Библии говорится. Одежды из крученого виссона носили цари древних времен, когда Бог еще сам по земле ходил. А во Францию кружево королева Екатерина Медичи привезла, она испанка была, любила в кружево наряжаться и тратила много золота, чтобы его покупать. А за ней и придворные дамы угнаться пытались, мужей своих разоряли. Да ведь и мужчины тогда одевались в кружева... Наконец, государь издал указ, чтобы завести кружевное дело во Франции. Тридцать венецианских мастериц сманили большими деньгами, и уехали они тайком – кто бы их отпустил по доброй воле? Министр Кольбер спрятал их в своем замке Лонре, что близ Алансона, но все равно им угрожали и пугали, и пришлось беглянкам вернуться домой. А только научить французских мастериц своему искусству они все же успели... И года не прошло, как Кольбер королю первые кружева показал. Государь восхитился и приказал всем придворным отныне заграничные кружева больше не носить под страхом смертной казни. И придворные подчинились, даже с радостью, ведь французские мастерицы куда искусней оказались и орнаменты их гораздо изящнее были. На алансонских кружевах тогда изображали дам и кавалеров, единорогов и амуров, цветы и птиц. И в Аржантане стали плести кружева, только были они потяжелее, погрубее, шли на воланы к платьям, на мантильи. Прославились и кружева из Валансьенна, очень прочные они были и плоские, так что украшать ими платье оказалось гораздо удобнее. А в Брабанте такие сложные по рисунку кружева выделявали, что никто повторить не мог. Цветочные гирлянды и букеты выходили точь-в-точь как настоящие, и даже живые бабочки на них садились. В Канне, Байе и Пюи блонды плели из золотистого несученого шелка, а контур золо-

той или серебряной нитью обводили – такая роскошь! Целые платья делали из блондов, а еще шали, пелерины, не говоря уж о такой мелочи, как вуалетки, галстуки, носовые платки, и за каждую безделушку платили полновесными монетами! Да что там, дети мои, золото так и текло в карманы мастериц, и по тем временам кружевницы жили как королевы! Ох, а Шантли! Как это красиво! Герцогини носили шарфы и зонтики из шантли. Я как-то раз исколола себе все пальцы, исполняя заказ для одной знатной особы, но что за дивный узор получился! Розы, тюльпаны, ирисы, маки, выюнки, колокольчики... Кружево было частое-частое, из-за чего я и ослепла почти. Ну что ж, вот во Фландрии, к примеру, чтобы кружева получались воздушнее, их плели в сырых подвалах, где кудель оставалась влажной, а нить – эластичной. И работали только молоденькие девушки с нежными, чувствительными пальцами. Бедняжки простужались, кашляли и умирали от чахотки, но ведь это ради красоты! Только самые знатные и богатые дамы могли позволить себе носить эти прекрасные, изысканные вещи. А теперь один англичанин придумал машину, которая плетет кружева. И что же? Все смогут носить кружева – и торговки, и мещанки? Нет уж, не бывать этому!

Разболтавшаяся старушка не следила за временем и только теперь испуганно вскрикнула:

– Ох, как мы засиделись! За работой время летит быстро. Скорее, скорее, дети мои, ступайте спать!

Веселой стайкой вспорхнули девчонки, им давно не терпелось размять затекшие руки и ноги и вытянуться, наконец, на своих узких кроватках в дортуаре! Я замешкалась, у меня слипались глаза, и сестра Агата дала мне ласкового шлепка: поторапливайся, девочка!

Я легла, но сначала не могла согреться под тонким одеялом, а потом сон пропал. Белые волны батиста колыхались перед глазами, словно море, но сквозь них вдруг стали просвечивать черные манекены. Они были похожи на обгоревшие, обугленные тела. Вдруг я услышала шепот. Кто-то звал меня. Я вскочила с кровати. Пол был ледяной, и я чуть не закричала от этого жгучего прикосновения. Но ступни скоро привыкли к холоду, и я вышла из дортуара, стараясь никого не потревожить. На лестнице меня ждал Октав. Он сидел в нише у окна. Я снова чуть не закричала, на сей раз от радости. Как давно я его не видела! Как скучала! Он совершенно не изменился, от него все так же пахло фруктами и зеленой травой, на губах была улыбка, но глаза казались тревожными.

– Октав! Но... Как ты сюда попал? Ночь, все двери заперты...

– Это неважно. У меня свои пути. Слушай, Вороненок. Ты должна идти. Сейчас может случиться большая беда!

– Разве она еще не случилась? – спросила я его с горечью, имея в виду все разом: и наше с ним горькое сиротство, и одиночество, отверженность, непохожесть на других детей...

– Слушай меня, Катрин, – повторил мой упрямый братец. – Тебе надо идти в мастерскую.

Я не знала, что и думать, но решила покориться – в конце концов, Октав всегда давал дельные советы. Добежав до мастерской, еще из-за двери почувствовала запах дыма. Забытая керосиновая лампа, стоявшая на полу, нагрела свисавший край батистовой сорочки, он почернел и тлел, по ткани уже бегали алые искорки. Я успела сделать только шаг от двери, когда сорочка занялась, вспыхнула, словно порох. Я схватила полыхавшую вещь голыми руками, бросила на пол и стала топтать. Никто не учил меня, что нужно делать в таком случае, но я откуда-то знала, знала – и все. Но при этом совершенно забыла, что выбежала из дортуара босиком. Пламя обожгло мне ноги, и я закричала.

В коридоре послышались шаги и голоса.

– Что там? Что случилось?

Мне на помощь спешили сестры. От них было больше шума, чем пользы, – они всплескивали руками, охали и поминали всуе имя Божье, но все ж пожар мы совместными усили-

ями потушили. Когда ни одной искорки уже не осталось, меня с почетным эскортом отвели обратно в дортуар. Я вся дрожала. Мне смазали руки и ноги мазью от ожогов и уложили в кровать. Всюду слышались голоса:

– Еще бы чуть-чуть – и все сгорело.

– Девочка спасла нас от большой беды! Но, клянусь Господом, есть в ней что-то такое, от чего у меня мороз по коже...

– Да, иногда она так странно смотрит, правда?..

– Я все вспоминаю, какая гроза была в ту ночь, когда она родилась. Она не дышала, и глаза были открыты... И никогда не кричала. Она так похожа на свою мать! Та не кричала, даже рожая, не издала ни звука!

– Тшш! Вы слишком много болтаете, сестры! Рот на замок! Рот на замок!

И они ушли, унесли свет. А я осталась лежать во тьме, прислушиваясь к ровному дыханию девочек, к собственному дыханию...

«...она не дышала...»

Я смотрю во тьму.

«...иногда она так странно смотрит...»

Я пытаюсь закрыть глаза.

«...глаза ее были открыты...»

Я снова начинаю дрожать.

«...у меня мороз по коже...»

Одиночество наваливается так, что мне трудно дышать.

«...она так похожа на свою мать!...»

Вот оно. Вот решение. Я должна, должна отыскать свою мать. И как можно скорей. Что толку, если я увижу ее, когда уже стану взрослой или даже старой? Когда одиночество изуродует мою душу и тоска разъест, как ржавчина съедает железо? Она похожа на меня, я – на нее, значит, мы должны быть вместе, вдвоем против всего мира.

Я была уверена: моя мать тоже чувствует себя потерянной и одинокой. Если она бедна, я стану работать и обеспечивать нашу маленькую семью. Если она больна, я буду ухаживать за ней. Если она несчастна, я стану для нее утешением и отрадой. Я возьму с собой Октава, мужчине легче пробить себе дорогу – так говорят сестры.

С той ночи я больше не желала, чтобы моя мать умерла. Более того, я стала чувствовать особенную душевную связь с ней. И день за днем эта связь крепла.

Глава 3

Я поставила перед собой цель: научиться хорошо шить, чтобы зарабатывать этим на жизнь. Но вскоре с горечью убедилась, что сестры не могут меня этому научить. Мы шили только белье, очень простое, на невзыскательный провинциальный вкус: недавно вошедшие в обиход дамские панталоны, рубашки, пеньюары, матине.

При общине дочерей милосердия, кроме приюта, существовал небольшой пансион. Пансионерки жили отдельно от нас, у них были не дортуары, а хорошенькие комнаты на две-три кровати, они носили не гадкие серые платья, а нарядные синие, и белые, а не черные передники. Словом, привилегированные, высшие существа, до которых мне было не дотянуться. По воскресным и праздничным дням к ним приезжали любящие родственники и родители, изысканные господа и изящные дамы. Раньше я старалась даже не смотреть на чужих матерей, но теперь невольно начала приглядываться. Одна дама поразила мое воображение. Она одевалась необыкновенно роскошно. Помню на ней чудесное платье из розового бархата с пышными тюлевыми оборками, отвороты корсажа и рукавов украшены алыми бантами, а отделкой служат крупные пуговицы из поддельного рубина, в два ряда нашитые на корсаж. Добавьте к этому рубиновый крест на шее, цепочки, браслеты, перстни, райскую птицу на шляпе, перья, цветы, кружевную мантилью, крутые локоны цвета сливочного масла, алые губы и нежный румянец! А ее фигура – какие изгибы, какие округлости! Я мечтала, чтобы моя мама оказалась похожей на эту шикарную, изысканную даму, но сестры ведь говорили, что мы с матерью похожи. Увы, значит, у мамочки черные волосы и невзрачная худая фигура... Что ж, я все равно стану ее любить, любить еще сильнее, чем Тереза любит свою мать! Осталось понять, почему дочери милосердия, когда видят нарядную гостью, кривят лицо, словно сосут лимон, а ее дочери Терезе, нарядной и избалованной, почему-то нельзя жить вместе с ней дома из-за «обстоятельств». Что это за обстоятельства такие? Трудно понять.

Я рассматриваю наряды дамы, пытаюсь выяснить, как это сшито. Мне трудно разобратся, и я, опустив глаза, прошу сестер помочь. К моему удивлению, просьба не встречает отказа, она удовлетворяется, даже охотно, с благосклонными улыбками!

Мне достаются модные журналы, целая пачка. Среди них есть совсем свежие, есть порядком зачитанные, а есть и такие засаленные, что на них можно жарить оладьи. Вместе они открывают мне новый, непознанный мир. Всю свою жизнь я провела в черно-белом, строго-сером обществе сестер и воспитанниц. Теперь же... На страницах журналов платья известных мастеров демонстрируют добровольные манекенщицы – актрисы, светские львицы, знаменитые красавицы, дамы полусвета, скандально известные куртизанки. Я почти забываю, что всего лишь хотела узнать, как выглядят и шьются модные дамские платья. Жадно рассматриваю женщин на фотографиях – у них гладкие фарфоровые лица, огромные глаза с таинственными тенями, крошечные губки бантиком. А какие пышные волосы! Какие тонкие талии! Но отчего у них так выпячена грудь, отчего почти непристойно оттопырены зады, так что вся фигура изгибается буквой S? Ах, так это же платья! Узкий силуэт, подчеркивающий и увеличивающий естественные изгибы фигуры, создает эффект выпяченной голубиной груди и делает фигуру подчеркнута выпуклой сзади. Для такой фигуры необходим «корсет здоровья», который рекомендуют все доктора – рекламные объявления корсетных фирм печатаются тут же. Якобы корсет этой современной формы должен снимать давление с области диафрагмы, следуя естественным изгибам женской фигуры... Юбки в форме колокола каскадом ниспадают от узких бедер к полу. Обратите внимание: юбки в этом сезоне носят еще короче, позаботьтесь о своей обуви!

Ткани струящиеся, романтические: шелковый шифон, крепдешин, муслин и тюль. Цвета светлые, пастельные, настраивающие на мечтательный лад. Пышная отделка из лент, оборок, рюшей, перьев, вышивки и особенно кружева. Ювелирные украшения от Шомэ и Фаберже красивой женщине просто необходимы! Универсальные магазины «Приятная прогулка», «Весна», «Дамское счастье» предлагают готовую одежду на любой вкус тем, кто не в состоянии воспользоваться услугами кутюрье. Кутюрье? Кто это?

Огненными буквами, как «мене, текел, фарес» Валтасара, написаны их имена, священные для любой модницы. Отец высокой моды, великий Чарльз Фредерик Уорт, создающий туалеты для королей и герцогинь. Жак Дусе – какие невесомые, полупрозрачные ткани! «Эти тонкие, как паутинка, платья напоминают Ватто» и «не обнажают, а лишь приоткрывают женскую красоту». Дусе придумывает наряды для актрис: фотографии Сары Бернар, Сесиль Сорель, Габриэль-Шарлотты Режан также печатаются в журналах, и я с открытым ртом рассматриваю этих необыкновенных, храбрых и экстравагантных женщин. Актрисы! Необыкновенные создания! Я смутно догадывалась, что эти дамы показывают зрителям, как привлекательно выглядят их тела в роскошных платьях. Ах, смелый экспериментатор Поль Пуаре жаждет переодеть французских красавиц в костюмы восточных наложниц и японских гейш: яркие узоры тканей, золотое шитье, тюрбаны, шаровары, кимоно... Таинственный Мариано Фортунни творит узкие, длинные, струящиеся платья с плиссировкой, они называются «дельфосы» и переливаются оттенками лунного света или морской воды. Свой способ окраски тканей он держит в глубочайшем секрете. Из Мексики ему везут кошениль, из Бретони – охру, с непостижимого Востока – индиго. Дельфосы носят Айседора Дункан, Элеонора Дузе, экстравагантная маркиза Казати, Клео де Мерод, Эмильена д'Алансон...

Но больше других меня интересовали женщины-кутюрье. Значит, это возможно? Жанна Пакэн представляет коллекцию в стиле ампир и платья в китайском и египетском стиле. А госпожа Ланвен открыла в Париже магазин «Мать и дитя». Как мило, должно быть, когда мама и крошка идут вместе в одинаковых нарядах!

А шляпы! Огромные, бархатные, с широкими плоскими полями, все в лентах, цветах, перьях! Их прикрепляют к шиньонам (что такое шиньон?) длинными булавками. Каролина Ребу – королева шляпной моды, и булавки у нее драгоценные, с рубиновыми, изумрудными, топазовыми головками. У Льюиса сизые голуби на синем! У Легру: страусиные перья, словно белоснежные облака, опустились на поля шляпки! Венки из фиалок и незабудок! Эгреты из перьев цапель! Причудливо драпированная ткань! Кружевные вуалетки, усыпанные мушками! Красота, роскошь, нежность...

И вдруг сердце у меня забилося от острой жалости и грусти. Я почувствовала, что всему этому скоро придет конец.

Что этот мир изысканной и хрупкой красоты, непрактичной моды, драгоценных безделушек, благородных аристократов, огромных состояний вот-вот будет уничтожен, разбит чудовищным ураганом. Дни гордой Французской империи были сочтены. Мне выпадала великая и горестная честь наблюдать крушение этого мира. Я стояла перед величественным, но обреченным зданием!

Предчувствие нахлынуло и прошло. Я снова была всего лишь неказистой, худенькой девочкой, склонившейся над модными журналами в пустой швейной комнате. Окажись на моем месте Луизетта, она наверняка сочла бы такое предчувствие откровением о грядущем конце света и не поленилась возвестить об этом окружающим.

Но я была не Луизетта, да и сама Луизетта уже стала не той девочкой, что усердно перебирала четки и шептала молитвы. Она сильно выросла, обзавелась роскошной грудью, пышными волосами и спелым румянцем. И больше не говорила о своей любви к Деве и не хотела стать монахиней, но мечтала уехать в Париж и поступить работать в большой магазин. По мнению Луизетты, там ей было самое место. Она была, что уж говорить, не

семи пядей во лбу, но не лишена сметливости. На нее заглядывались местные парни, и я слышала, как сестры говорили, что самое лучшее для Луизетты – остаться в деревне. Такой красивой и здоровой девушке, пусть даже сироте без приданого, нетрудно будет найти себе мужа. А вот Париж ее испортит.

Я не понимаю, как Луизетта может испортиться в Париже. Покроется плесенью, как сыр? Зачерствеет, как хлеб? Или, может быть, скиснет, как молоко?

Журналы я рассматриваю в швейной мастерской – их запрещено выносить и тем более брать в дортуар. Смысл этого запрета мне непонятен, но я подчиняюсь. В швейной во время рекреации очень тихо, косые лучи заходящего солнца скользят по беленой стене. Вдруг я слышу у дверей шорох, поднимаю голову и вижу, что там стоит девочка. Сначала я даже решаю, что она мне померещилась. Со мной ведь бывает.

Девочка чудесно одета, словно сошла с витрины магазина мадам Ланвен. На ней лиловое платье с плиссированными воланами и кружевным воротничком, локоны подобраны розовыми лентами, башмачки как будто сшиты из лепестков фиалки. На груди у нее сияет золотой медальончик. Чудесная девочка, пожалуй, несколько старше меня. Она осматривается и произносит:

– Здравствуй.

Я молчу, все еще слишком удивленная, чтобы разговаривать.

– Ты глухонемая?

– Нет. Здравствуй.

– Слава богу! Как тебя зовут?

– Катрин Бонёр.

– А меня Рене-Маргарет-Виктуар Гаррель!

Произнеся это, она гордо поднимает голову. У Рене-Маргарет-Виктуар большие голубые глаза, но ее несколько портит выдающаяся вперед нижняя челюсть. Вероятно, девочка считает, что произвела на меня достаточное впечатление, поэтому садится рядом и любезно говорит:

– Но ты можешь звать меня просто Рене. Что это у тебя? Можно посмотреть?

Я протягиваю ей «Платья и шляпки».

– Он же двухлетней давности, – тянет она разочарованно, но все же берет журнал, начинает перелистывать страницы и вдруг вскрикивает так, что я подскакиваю на скамейке.

– Такое платье носила моя мама! Я помню! Ах, как шуршали эти хорошенькие оборочки! Оно было из серебристого фая, а шлейф отделан мехом голубой норки. Когда мама собиралась танцевать, она всегда заходила поцеловать меня на ночь. А потом я садилась на ее шлейф и ехала по паркету. Горничная вопила, что платье порвется, но нам было наплевать! Сейчас так уже не носят. Теперь талия поднялась высоко, чуть ли не до подмышек, и туда повязывают очень широкую баядеру... Ну, это такой шелковый пояс, понимаешь? И рукавов таких уродливых уже нет – теперь рукав стал гладким или кимоно. Знаешь, в Париже...

– Ты жила в Париже? – ахаю я.

– Само собой, – царственно кивает Рене. – Как будто можно жить где-то еще! Как же там шикарно!

– А ты не знаешь, как девушки там портятся?

– Что-о? – в синих глазах Рене загорается насмешка.

Я торопливо объясняю, в чем дело, и моя новая подруга хохочет. Никто в приюте не смеется так громко и беззаботно – ни воспитанницы, ни сестры.

– Какие же вы тут дурочки! Твоя Луиза вовсе не заплесневевает! Уж в Париже найдется, кому стряхнуть с нее плесень, будь спокойна! Сестры имеют в виду, что в Париже девушка может познакомиться с разными мужчинами. Они станут делать с ней все то же, что с женой, вот только жениться и не подумают!

– Это дурно? – уточняю я.

– Сестры считают, что очень дурно. Но на самом деле это может оказаться полезным, если девушка будет разумно себя вести... Так говорила Сандрин, моя горничная. Знаешь, у моей мамы было много знакомых. Она ведь играла в театре, и все мужчины восхищались ее красотой и талантом. Все ее любили! И меня тоже. Мне мамин друг приносил игрушки и конфеты, качал меня на коленях, щекотал бородой. У меня были только нарядные платья. Мама наряжала меня как куколку, брала с собой на репетицию, потом на прогулку в Булонский лес, а еще – обедать в ресторан. Иногда я так и засыпала там на диване, под ее душистым манто. Веселились всю ночь напролет! А в иной день и совсем не обедали, а покупали в кондитерской сладких пирожков или торт, или устриц... Вот это была жизнь! Ты хоть пробовала устриц?

Я молча качаю головой, хотя мне очень хочется спросить, почему же тогда Рене оказалась в сиротском приюте. Наверное, ее мама вела себя неразумно.

– Какие у мамы были платья, ленты, кружева! Какие бриллианты! Она надевала на меня розовое платье и все свои украшения, так что я сверкала, как рождественская елка, а потом говорила, что все это будет мое – и ожерелья, и сережки, и браслеты...

– Где же это все? – рискую спросить я.

– Где? Когда мама заболела, пришли кредиторы...

– Кто?

– Люди, которые давали нам всякие чудесные вещи, а деньги соглашались взять потом. И от портного пришли, и от сапожника, и от ювелира, обойщика, мебельщика... И даже из лавок – мясной, зеленой, бакалейной. Даже из кондитерской с улицы Кокильер принесли счет за мои пирожные! А еще надо было платить за мой пансион, и маминему парикмахеру, и горничной, и врачу... Мама не захотела хворать дома, потому что у нас не стало денег, чтобы заплатить доктору за визиты. Ее увезли в больницу для бедняков, она и умерла там, и ее похоронили в общей могиле. Сандрин все продала, все вещи, заплатила долги, а меня привезла сюда. Бедная моя мамочка! Как я несчастна! Как несчастна!

Рене плачет. Дети обычно плачут по-другому – зажмурив глаза, широко раскрыв рот, по щекам катятся крупные, словно горошины, слезы. Но Рене давится сухими рыданиями, рот ее сжат, глаза смотрят в угол, где сгущается тьма, и как будто видят там что-то страшное. Мне нечем ее утешить. Я не знаю, что сказать, и делаю то же, что делает Октав, когда плачу я, – а кроме него никто и никогда.

Да и он – никогда. Потому что его нет, верно? Он умер.

Я обнимаю Рене и притягиваю к себе. Она, словно только этого и ждала, прижимается к моему плечу и обхватывает меня руками. Я чувствую, как она вздрагивает от плача, и понимаю, что все сделала правильно.

– Мадмуазель Гаррель!

Надтреснутый старческий голос сестры Агнессы приближается. Рене вытирает глаза и выпрямляется. Она не хочет показать своей слабости, и мне это нравится.

– Мадмуазель Гаррель! Ах, вот вы где, дитя мое. Пойдемте, я накормлю вас, ведь ужин-то еще не скоро, а вы с дороги! Да, и покажу, где будет стоять ваша кровать. И Катрин тут! Вы уже подружились, девочки? Похвально!

– Нельзя ли сделать так, чтобы моя кровать стояла рядом с кроватью мадмуазель Бонёр? – спрашивает Рене.

Мне нравится, как она это говорит – кротко и в то же время с достоинством. В приюте не умеют разговаривать таким тоном. Сироты обращаются к сестрам или грубо, или заискивающе. Вот что значит парижское воспитание – эта девочка умеет себя вести!

Но тем же вечером я убеждаюсь, что у Рене есть свои недостатки.

В дортуаре разражается страшная буря: Рене кричит на сестер и кидает в них щетками из своего щегольского несессера. Она не хочет, не желает! Она ни за что не сменит шелковое платье на приютское серое рубище! И уж тем более не позволит нацепить на себя передник – их носит только прислуга! Она не будет заплетать косички и завязывать их гадкими веревочками, а всегда станет носить локоны и розовые ленты! А что это за рубашка? Она что, сшита из жести? Этой материей можно ободрать себе шкуру до крови!

– Что за лексикон, – укоряет ее добрейшая сестра Мари-Анж. – Будьте умницей, Рене, вы не можете носить каждый день это чудесное платье, ведь оно у вас одно и нет другого на смену. Что вы будете надевать, когда оно запачкается и его отдадут в стирку? И локоны у нас девочки не носят каждый день, ведь вы не сможете причесываться самостоятельно! Вам сделают нарядную прическу, когда будет праздник, вы наденете платье и будете прекрасны, как мотылек. Успокойтесь. Сейчас я принесу воды.

Сестра Мари-Анж выходит. Я, помешкав, бегу за ней и догоняю в коридоре.

– Сестра... Сестра... Прошу вас, позвольте новенькой остаться в красивом платье. Когда оно будет в стирке, я одолжу ей свое. И я могла бы помогать ей причесываться, и...

– ...и стать ее горничной, – заканчивает за меня сестра Мари-Анж и грустно качает головой. – Нет, дитя мое, так не годится. Ты добрая девочка, Катрин, и у тебя золотое сердце. Но, увы, мадмуазель Гаррель придется привыкнуть к простому платью и прическе. А может быть, и к бедности, лишениям, труду ради куска хлеба. Так будет лучше для нее самой, поверь мне, детка.

Сестра Мари-Анж вздыхает и гладит меня по голове. Я вижу ее руку – прекрасной формы, с тонким запястьем и миндалевидными ногтями – и вдруг понимаю, что и она не всю жизнь была дочерью милосердия, смиренной сестрой-викентийкой, давшей обет бедности, целомудрия, послушания и служения бедным. Может быть, она тоже жила в Париже и носила шелковые платья, золотые медальончики, кружева и ленты? И ей прислуживали горничные? А сестра Мари-Анж вздыхает снова и говорит:

– Но ты, дитя мое, и Рене тоже можете извлечь из этой печальной истории ценный жизненный урок. Шелк уместен далеко не всегда, иной раз практичнее шерсть и бумазея, да и локоны годятся не на каждый день. К чему теперь Рене кружева? Ей куда больше подошли бы крепкие башмаки и теплый плащ. Зачем ей оправленные в серебро зеркала, щетки и флаконы? Швейная машинка пригодится ей в будущем значительно больше... Несессер – роскошь; швейная машинка – необходимость...

Я слушаю сестру Мари-Анж и пока не решаюсь усомниться в ее правоте.

Когда я возвращаюсь в дортуар, Рене уже лежит в кровати. Даже складки ее одеяла выражают досаду и упрямство. На ней рубашка из грубого полотна, волосы заплетены в две кривые косички, но на шее все так же поблескивает золотая цепочка. Девочка быстро-быстро крутит в руках медальон и хмурится.

– Знаешь, – говорю я, – тебе к лицу косы.

Рене бросает на меня недоверчивый взгляд.

– Правда?

– Да. Расскажи мне еще о Париже. И о своей маме. Это ее портрет у тебя в медальоне?

Рене кивает и порывисто протягивает мне медальон. Я с трудом его открываю, поддев ноготком. Хруп – и передо мной, под стеклом, портрет красивой дамы с огромными, как у Рене, глазами. В другой половинке, тоже под стеклом, вьется прядь рыжевато-каштановых волос. Я возвращаю медальон Рене.

– Она очень красивая, твоя мама. Ты похожа на нее.

Рене вздыхает так, словно вновь собирается зарыдать, но сдерживается.

– Она всегда пела мне перед сном одну песенку... Хочешь, я спою тебе?

Я киваю, и Рене шепотом запекает:

Малыш Руссель построил дом,
Малыш Руссель построил дом,
Ни стен, ни крыши нету в нем,
Ни стен, ни крыши нету в нем.
Только Руссель грустит не слишком:
Это для ласточек домишко.
Ах, ах, ах, это так —
Малыш Руссель – большой чудак!
Руссель с иголочки одет.
Три фрака есть, чтоб выйти в свет.
Но из оберточной бумаги
Сшиты штаны у бедолаги...
Ах, ах, ах, это так —
Малыш Руссель – большой чудак!

Вот теперь она плачет по-настоящему, горячими слезами. Но я понимаю, что утешать ее не надо, Рене сейчас лучше выплакаться. Входит сестра и гасит свет. В темноте я слушаю тихие всхлипывания Рене. Перед моими глазами снова пролистываются упоительно яркие страницы журналов: шелк и крепдешин. Шали из кашемира. Кружевные шали шантильи. Русские меха: манто из горностая, соболья горжетка и муфта. Грустная мордочка песка, свисающая с плеча горделивой красавицы. Драгоценные парюры Фаберже и Шомэ. Актрисы Сара Бернар, Сесиль Сорель, Габриэль-Шарлотта Режан. И бедная мамочка Рене, рыжеволосая актриса, кротко умирающая на казенной койке и похороненная в безымянной могиле за казенный счет. И плачущая на такой же казенной койке Рене.

Настоящая плата за роскошь. Истинная цена вещей.

Глава 4

На следующий день Рене показывает девочкам все свои сокровища. Сестра Мари-Анж может сколько угодно рассуждать насчет необходимого и лишнего, но приятно держать в руках эти тяжелые щетки, оправленные в серебро.

– Мама говорила, что нужно сто раз провести щеткой по волосам и встряхнуть их вот так. Тогда они будут красивыми и блестящими...

В круглой фарфоровой бонбоньерке – пудра. Девчонки ахают и пудрят себе носы. Все с белыми носами! Во флакончике – лавандовая душистая вода. Ее Рене никому не дает в руки – можно только понюхать.

– Ее так мало осталось! – вздыхает огорченно. – А здесь ведь не достать!

Я немного удивлена. Рене кажется мне совершенно не такой, как вчера. Словно она все забыла. Но я встречаюсь с ней глазами и вижу, что – нет, ничего не забыла, просто не хочет показать свою слабость перед другими пансионерками.

За завтраком она садится рядом со мной, и потом мы вместе идем в классы, на обед, на прогулку, в мастерские, на ужин, в дортуйар. У меня появляется подруга. Впервые в жизни.

Конечно, в нашей дружбе главенствует Рене. Она старше. Она лучше знает жизнь. Она жила в Париже! С важным и взрослым видом Рене рассуждает обо всем на свете: о шляпных мастерских, театральных премьерах, сиамских кошках; о том, как полировать ногти при помощи лимонов и выводить веснушки сывороткой. У нее есть щетки для волос и зеркальце в красивой оправе, но она не умеет сама причесаться и как следует умыться. У нее есть в несессере изумительная игольница – в кожаном футляре лежат иглы, шильце, ножницы и наперсточек с эмалевыми фиалками, но Рене не способна к шитью. Она мучительно колет себе пальцы, делает огромные неаккуратные стежки, при виде самой простой выкройки каменеет, как Лотова жена, а на швейную машинку боится даже взглянуть. Сестры в отчаянии.

– Чем будет зарабатывать на жизнь эта девочка? Чего она хочет? Делать долги? Танцевать на балах? Красить лицо? – вопрошает сестра Агнесса, и ее собственное лицо, длинное и желтое, становится еще темнее от прилива желчи. – Учиться она не сможет, ее знания ввергли учителей в отчаяние. Наш долг – помочь ей найти свое место в жизни!

Ее пробуют приохотить к работе в саду, но Рене только хохочет:

– Мне? Ковыряться в земле? Стать крестьянкой или работницей на ферме? В деревню ездят пить молоко, обедать на свежем воздухе, собирать полевые цветы... Но не заниматься этой вашей... прополкой, что ли?

Она не может отличить артишоков от сорной травы, и сестры отказываются от мысли найти для Рене место в деревне.

Только старенькая и мудрая сестра Агата спокойна.

– Дайте девчушку мне. Уж я знаю, к чему ее можно приспособить. Я-то уж немало таких повидала.

Рене попадает в распоряжение сестры Агаты, и вскоре выясняется ее талант.

– Смотри, – говорит мне подруга. В руках у нее ленточка, просто шелковая ленточка. Она делает несколько неуловимых движений пальцами, и на ладони внезапно распускается роза. Совершенно как настоящая, мне даже кажется, что я чувствую аромат.

Рене с большим вкусом делает цветы из бумаги и шелка, даже простые бантики в ее исполнении выглядят куда изящнее. Она быстро учится вышивать бисером и блестками.

– Шикарная вещица? – спрашивает она меня, накидывая на плечи шарф.

«Шикарный», «пикантный» – это словечки Рене, которые она привносит в наш полу-монашеский быт. В Париже главное – быть не красивой и одетой с иголки, а шикарной и пикантной, остроумной и броской.

Шарф кажется мне слишком ярким, варварское сочетание пурпурного и зеленого режет глаз. Но Рене очень довольна. Довольны и сестры. Теперь девочка не собьется с пути, не пойдет по плохой дорожке. Она сможет поступить в шляпную мастерскую и будет честно трудиться.

Я чувствую, что дочери милосердия обеспокоены тем, какое влияние оказывает Рене на меня. «Наша маленькая парижаночка», как они называют Рене, по их мнению, излишне освещена в некоторых сторонах жизни. Но они беспокоятся напрасно. Рене действительно слишком много времени проводила с актрисами и горничными, но все еще такая же дурочка, как я. Она любит вспоминать прошлое, любит говорить о том, как много было кавалеров у мамы и как они обожали ее саму – задаривали подарками и кормили всякими вкусными вещами. За обедом она обиженно бултыхает ложкой в супе, вылавливая клецки и кусочки моркови.

– Мы часто ужинали устрицами, – говорит она мне. – Устрицы – мое любимое блюдо. Ты хоть когда-нибудь ела устриц? А что ты любишь больше всего?

Я вполне равнодушна к еде. Еда – это то, что принимают внутрь по определенным часам, чтобы не сосало под ложечкой и были силы для работы. Я даже не знаю, что ответить.

– Так и есть, – вздыхает Рене. – И куда я, несчастная, попала!

Она очень тоскует по прежней жизни. Из-за этого даже происходит небольшая ссора между Рене и сестрой Мари-Анж. Сестра слышит, как Рене вздыхает о роскоши, окружавшей ее в прошлом, и говорит – ласково, но твердо:

– Разве не лучше, дитя мое, жить своим трудом, ни от кого и ни от чего на земле не зависеть?

Рене смотрит на сестру долгим немигающим взглядом, а потом спрашивает:

– Разве викентианки не принимают пожертвования от богатых людей?

– Принимают – соглашается сестра. – Но они еще и работают – шьют приданое, возделывают сад.

– И мы работали, – кивает Рене. – Мама играла в театре и получала жалованье. К тому же мы обе старались всегда быть красивыми и веселыми, чтобы господа, приходявшие в гости, нами любовались. Один мамин друг, у него еще была большая черная борода и он служил в министерстве, – так вот, этот мамин друг говорил, что на душе у него поют маленькие птички, когда он видит наши лица. За это он готов был дарить любые подарки. И другие мужчины тоже.

– Милое дитя, пожертвования от благотворителей и подарки от мужчин – это не одно и то же!

– Почему? – искренне удивляется Рене.

Сестра Мари-Анж, как я понимаю, очень хочет сказать, но не может. Она сильно краснеет и произносит совсем не то, что думала:

– Видите ли, дети милосердия не тратят денег жертвователей на свои личные нужды, не упиваются тонкими блюдами и дорогими винами, не носят кружева и бриллианты. Они используют средства для того, чтобы помочь людям, которые не в состоянии о себе позаботиться. В этом и есть разница. А сетовать на скромные удобства, которые вам может предложить община, неразумно. Лучше десять тарелок горячего супа, чем одна тарелка устриц.

Рене, похоже, должна как следует обдумать этот вопрос.

– Так что же, – спрашивает она, – и кружева, и бриллианты, и устрицы – это плохо?

– Нет, ни в коем случае. Ведь для того, чтобы соткать ваш кружевной воротничок, понадобилась работа мастерицы. Если бы его не удалось продать, она не смогла бы зарабо-

тать себе на пищу и кров. Бриллианты, слышала я, есть не что иное, как каменный уголь, зреющий в недрах земли, дар божий. Но и его достают камнекопы, обрабатывают ювелиры, продают торговцы. Значит, человек, покупающий бриллиант, дает работу многим другим людям. Дурно только, если бриллианты покупаются в долг, а так делают многие. Если у тебя нет денег на кружева, не стоит их покупать, если не хватает на устрицы, довольствуйся говядиной. И говядина была сегодня неплоха, как ты думаешь, Катрин?

Сестра Мари-Анж смеется, Рене тоже. Я мало что поняла из того, о чем они говорили, но могу сделать один вывод: между ними теперь воцарился мир. И это знание наполняет мою душу покоем.

На следующий год мы с Рене, выдержав установленный экзамен, поступаем в лицей. Мадмуазель Гаррель никогда не была прилежна в учебе, поэтому мы идем в один класс. Теперь у нас будет французский язык и литература, английский язык, история, география, арифметика, основы геометрии, естественная история, физика, химия, хозяйство, гигиена, законоведение, введение в педагогику и учение о нравственности. Кроме того, желающие могут записаться на курсы высшей математики (обе мы их игнорируем), элементарный курс латинского языка (я буду его слушать, Рене нет), подробное изложение греческой и латинской литературы (только на четвертом году обучения, надо подумать, записываться или нет), торговую и культурную географию, подробную физиологию растений и животных. Во всех классах обязательна гимнастика, а рисование и пение – только в первых трех.

– Интересно, что такое «учение о нравственности»? – ехидно интересуется Рене. – И есть ли по этому предмету экзамен? Я наверняка провалюсь!

Но она зря беспокоится – «учение о нравственности» читает нам сестра Агнесса. На первом же занятии она объясняет, что эта дисциплина включает в себя понятие о гражданских обязанностях, таких как справедливость, уважение к личности, любовь к ближнему, благоволение, благотворительность, а также обязанности по отношению к самому себе.

– В последнем учебном году курс морали перейдет в психологию, основные начала которой находят практическое применение при воспитании детей. Вы должны быть образованными матерями!

Рене не особенно хорошо учится.

– Я так глупа, – говорит она, когда я напоминаю ей о домашнем задании. – Не могу понять, зачем мне химия.

Зато она отлично рисует и поет, отличается грацией на уроках гимнастики и знает множество стихов. Все остальное Рене списывает у меня.

А потом ей случается прийти мне на помощь в трудной ситуации.

Однажды утром я просыпаюсь от неприятных ощущений: ноет поясница, колени – словно из песка, побаливает голова. Весь день хожу с этим недомоганием, все роняю и путаю, за обедом мне совсем не хочется есть, а ближе к ужину, напротив, пробуждается страшный аппетит. Перед сном иду в уборную и обнаруживаю пятна крови на своем нижнем белье.

Я очень пугаюсь, поскольку знаю, что кровь – это всегда рана. Но на мне нет никаких ран, а значит, кровь идет из меня, из внутренних органов. Воспитание при общине дает некоторые, хоть и сомнительные, преимущества. Я часто слышала, как сестры обсуждают те или иные болезни, которые им случалось наблюдать. Не так много времени прошло с момента смерти несчастной сестры Анны. У нее нашли раковую опухоль, которая засела в животе так глубоко и пустила свои щупальца так далеко, что оперировать ее было невозможно. Сестра Анна держалась стойко, как истинная католичка. Она вообще была железная женщина. От страшной слабости ходила, держась за стены или опираясь на одну из своих товарок, из последних сил выполняла свои обязанности по обители и посещала богослужения, уладила все свои дела, а потом слегла. Боли были невыносимыми, она кричала в голос.

Ей стали давать морфий; вскоре она скончалась. Я слышала, как сестры говорили, что непрерывные кровотечения были главным симптомом заболевания; что сестра Анна из целомудрия не обращалась к врачу; что медицина еще не знает средств вылечить эту болезнь... Говорили также, что такая хворь может быть вызвана как безнравственным образом жизни, так и напротив, строжайшим соблюдением обета целомудрия. В случае сестры Анны, конечно, верно было последнее утверждение.

С присущей мне наивностью я решила, что тоже больна этой страшной болезнью – симптомы были те же: кровотечение из внутренних органов и ужасная слабость. Сразу решила никому ничего не говорить – что-то подсказывало мне, что о таких вещах не кричат на каждом перекрестке, что это тайна, величайшая тайна жизни и смерти. Да и вдруг сестры сочтут, что моя болезнь вызвана как раз безнравственным образом жизни?

Сильных болей пока не было, значит, у меня еще есть время, чтобы уладить все свои дела. Правда, я точно не знала, какие именно – закончить, что ли, приданое для девицы Прюньер, которая в ноябре выходит замуж за вдовца-фермера? Но мне казалось странным пришивать оборочки из машинного кружева к панталонам будущей фермерши. Я решила все как следует обдумать и тихонько ушла из приюта, чтобы остаться наедине со своими мыслями.

Река тихо катит свои волны. Поздняя осень, вода холодна даже на вид. Я сажусь на прибрежные камни, подтыкая под себя полы плаща. Никаких мыслей у меня нет, но и возвращаться в приют не хочется. Лучше всего было бы сидеть тут, на берегу, а еще лучше – плыть по темной воде, словно Офелия. Эта мысль увлекает меня. Я встаю, и делаю шаг, еще один. Волна, как щенок, лижет носы ботинок. Я зажмуриваюсь.

– Ты промочишь ноги, – говорит Рене и отводит меня от кромки воды. – Что это тебе в голову взбрело? Ба, а что это у нас с личиком? Что с тобой такое?

– Я заболела, я умираю, – отвечаю, плача, и сгибаюсь вдвое от спазма в животе.

– Кто тебе сказал? Да с тобой еще вчера все было в порядке! Я же говорила, не надо было есть на ужин ту жареную колбасу. Она ведь так и сочилась жиром. Конечно, теперь у тебя живот схватило! Ну-ну, пойдем к сестре Мари-Анж, она даст что-нибудь из своих колдовских снадобий, и все пройдет.

Тогда я шепотом – в полный голос говорить и страшно, и стыдно, – рассказываю ей все. Рене сначала смотрит на меня округлившимися глазами, а потом – я вижу это! – старательно удерживается, чтобы не засмеяться.

– Не надо пугаться, дорогая, – ее глаза смеются, но голос очень серьезен. Больше того, она говорит сейчас так, словно не на два года меня старше, а на все двадцать, будто она не избалованная девчонка, которая до недавнего времени даже кос не умела себе заплести, а прожившая жизнь женщина. – Это бывает со всеми женщинами с определенного возраста. И будет происходить каждый месяц, поэтому... э-э-э... Поэтому оно так и называется. А монашки говорят, что это «проклятие». Но если попросту, то у тебя обыкновенные недомогания, а еще можно сказать «кардинал приехал»...

От неожиданности я даже перестаю держаться за живот:

– Кардинал?

Мне смешно.

– Ну да. У кардиналов же красные одежды. Пойдем, тебе не надо сейчас мерзнуть. Я знаю, что делать.

Отведя меня в дортуар, она скоро возвращается, приносит вату, бинты и эластичный пояс. Рене объясняет, как этим пользоваться, и мы совместными усилиями упаковываем меня в этот резиновый ужас. Конечно, не очень удобно, но на душе делается легко, и я больше не плачу. На целый день меня оставляют в покое, не нагружают работой, ни о чем не спраши-

вают, а сестра Мари-Анж походя сует мне в руку огромную конфету в кружевной бумажке. Мы съедаем ее с Рене на двоих. Внутри конфеты марципан.

Следующей же ночью Рене посвящает меня в тайну отношений между мужчиной и женщиной. В голове у нее чудовищная мешанина из сведений, любезно сообщенных распущенными горничными, дрянных романчиков и наблюдений, которые ей охотно предоставляла жизнь. Я же не поняла и половины из ее горячего шепота, и хорошо. От того, что я слышала, осталось лишь недоумение: как это взрослые люди занимаются такими глупостями?

К счастью, недоумевала я недолго. В обители была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Сестры ничего не прятали и не запирали, просто некоторые книги ставили повыше, но недаром же я штурмовала в свое время высоченную стену! Мне ничего не стоило, взобравшись по полкам, словно по ступенькам, раздобыть «Трактат о физиологии» Лонге и «Описательную анатомию» Крювелье. Я не стала приносить их из библиотеки и читала их прямо там, как недавно читала в швейной мастерской модные журналы. В «Анатомии» были красочные иллюстрации, а «Трактат» их разъяснил. Не удовольствовавшись общими сведениями, я отыскала на той же полке «Гинекологию» де Куртю и «Родовспоможение» Пинара. Это довершило мое просвещение. Правда, так и осталось непонятным, почему ежилась и хихикала Рене, что такого жгучего и дурного может быть в зачатии и рождении. Правда, сами обстоятельства появления ребенка на свет меня шокировали. И женщины соглашались на такие муки!

Невзирая на физиологическое взросление, во мне еще не пробудился пол. Именно поэтому сведения о зачатии и рождении кажутся мне не более щекотливыми, чем сведения о том, что в реках водится рыба, что они впадают в моря, что некоторые из них зимой покрываются льдом. Если бы я была чуть более наблюдательна, то и своим умом дошла бы до истины, наблюдая за кошками, жившими в обители. Да, признаться, и крестьянки из ближайшей деревни проявляют по весне не больше благоразумия, чем эти пушистые прелестницы. Прогуливаясь в роще под вечер, можно видеть, как то одни, то другие кусты начинают шевелиться, в них мелькают белые нижние юбки, а временами показываются и смущенные покрасневшие физиономии.

Но все же откровенность подруги сослужила мне хорошую службу и в каком-то смысле была не менее полезна, чем ученые рассуждения Лонге, Крювелье, де Куртю и Пинара. Я больше не боялась Рене, мне удалось выйти из скорлупки, в которой я была заточена с самого рождения. И с той поры мы могли говорить обо всем, у нас уже не было секретов друг от друга. Она рассказала мне, что в саду дома на бульваре Осман ее мать, уже больная, закопала копилку дочери, тяжелый жестяной сундучок, набитый наполеондорами³. Рене тоже в самом скором времени намерена вырваться из приюта, откопать копилку и зажить в свое удовольствие. Хорошо было бы подцепить богатого мужа и вовсе никогда не работать, а шляпки отделывать исключительно для собственного удовольствия!

А я рассказала ей, что моя мать жива, что у меня есть брат, который воспитывается в другом месте, и скоро мы поедем ее искать, станем жить вместе и будем счастливы. Слова о матери Рене пропустила мимо ушей, а Октавом заинтересовалась, забросала меня вопросами.

— А он красивый? Высокий? У него такие ж глаза, как у тебя? Ты представишь нас друг другу? У меня еще никогда не было знакомых юношей...

³ Золотая монета в 20 франков. Выпускалась во Франции, в качестве средства оплаты, с 1803 по 1914 год. Стандарт монеты был введен Наполеоном I, который отменил прежнюю монетную стопу на основе луидора и установил стандарт золотого содержания. Название монета получила по первоначально изображавшемуся на ней профилю Наполеона Бонапарта.

Я обещаю непременно познакомить Рене с Октавом, но чувствую, что ее вопросы, ее неожиданно взрослые смешки меня смущают. Почему я так давно не говорила с братом? Мы стали редко встречаться, отдалились друг от друга до такой степени, что я даже не могу вспомнить, как он выглядит. Знаю только, что он неизменно добр и зовет меня Вороненком...

Я засыпаю с тяжелым сердцем и гудящей, словно пчелиный рой, головой.

Глава 5

Мы едем на повозке через лес: я, Рене, Луиза и наш возчик дядюшка Маливуар. Едем в ближайший город под названием Рубе. Он большой, его называют городом тысячи труб, потому что в нем множество фабрик, в том числе текстильная и трикотажная. Там мы должны купить несколько штук материй и привезти в обитель. Все мы в приподнятом состоянии духа. Дядюшка Маливуар – потому что в его корзине припрятано несколько бутылок, которые он намерен наполнить у своего кума-кабатчика самой лучшей смородиновой наливкой. Я – потому что никогда не бывала так далеко и сроду не видела ничего, кроме сада, рощи, реки, полей, кладбища. Рене тоже взбудоражена поездкой – она рассчитывает купить перьев для отделки шляпы. Шляпа у нее только одна, и сейчас она украшена целой клумбой маргариток.

Только Луиза выглядит недовольной. В последнее время она прихварывает, хотя ни на что не жалуется, кроме слабости, и даже, пожалуй, располнела. В этом году Луиза уезжала работать на фабрику в Рубе, но по неизвестной нам причине вскоре вернулась. Сестра Мари-Анж готовит для нее какую-то микстуру и очень жалеет, а сестра Агнесса говорит, что мы все должны молиться о спасении души Луизетты. Кое-кто из девчонок считает, что у Луизы заразная болезнь, потому что из общего дортуара ее перевели в отдельную келью. Но почему же тогда ее не положили в лазарет, где есть изолятор? Нет, это что-то другое. И если она так сильно больна, если не может работать в городе, то зачем поехала теперь с нами? Причем тайком, не спросившись у сестер! Я поняла это, когда она вышла на тропинку в роще и, не говоря ни слова, грузно уселась в низенькую повозку. Ботинки у нее не зашнурованы, зато она сделала красивую прическу. Всю дорогу Луиза молчит и только морщится, когда нас подкидывает на ухабах. А мы с Рене смеемся.

Город производит на меня невероятное впечатление прямо с окраины: дома, смотрящие на нас люди в особенных, городских, как мне кажется, одеждах... А уж когда мы въезжаем на широкие мощеные улицы, где можно любоваться витринами магазинов, нарядными дамами и господами, точно сошедшими со страниц модных журналов, детьми, катящими перед собой обруч или подкидывающими звонко плещущие мячи, я совершенно теряюсь. Боюсь, рот у меня открыт, как у настоящей деревенщины. Рене, осматриваясь по сторонам, благосклонно кивает:

– А что, не так уж и плохо. Нет такого шика, как в Париже, но неплохо.

И вдруг спохватывается:

– Мое платье совершенно вышло из моды, какой позор! А шляпы! Смотри, Катрин, шляпы теперь украшают бантами. Ах, что за серебристый тайлер на этой даме, и юбки стали совсем простые... Смотри, она садится в автомобиль!

Автомобиль я вижу впервые в жизни. Изыщная дама садится в него, точно в ванну, по самую шейку, и прикрывает глаза. У нее на руках крошечная собачка. Лицо дамы очень красиво. Вдруг я думаю: что, если это моя мать? Или не эта дама, а вон та... Вон та... Нет, нет, Октав говорил, что она нуждается и много работает. Значит, она не может быть одной из этих холеных, бездельных кукол. Вдруг мама сейчас в толпе работниц, идущих на смену? Или среди продавщиц, украшающих витрину магазина готового платья? Или случилось так, что она склонилась в эту минуту над шитьем и колет свои бедные тонкие пальцы иголкой?

– Ты что приуныла? – Рене толкает меня локтем. – Смотри по сторонам, а то скоро опять за высокие стены. Хоть свежего воздуху глотнуть!

Насчет свежего воздуха она, допустим, преувеличила. В деревне куда легче дышится, там под ногами земля и трава, а не булыжники. Над фабриками стоит дым, из-под стен одной из них вытекают ярко окрашенные ручейки воды – синий, красный, желтый. Смешиваясь,

они образуют мутно-бурый поток. Но все же Рене права, надо смотреть по сторонам. Даже Луиза, выйдя из своей апатии, энергично вертит головой. Может быть, высматривает своих подруг с фабрики? Внезапно она соскакивает с возка и кричит:

– Я подожду вас тут!

Папаша Маливуар кивает и настегивает лошадь. Перед повозкой открывают ворота. На фабрике нас ждут и сразу ведут в контору. Маленький человечек с серым лицом кланяется нам – небрежно, но как взрослым! – и начинает заполнять какие-то бумаги. А рабочие во дворе уж грузят в повозку ткани.

– Прошу вас расписаться здесь, мадмуазель, – конторщик протягивает перо и переводит взгляд с меня на Рене и обратно. Рене делает шаг вперед, берет перо и ставит лихую подпись с завитушкой. Деловая часть поездки закончена, теперь у нас есть личное время. Можно погулять по городу и пообедать где-нибудь – сестры разрешили и даже дали немного денег, которые я храню в носовом платке. Папаша Маливуар предлагает прогуляться с ним до кабачка, который держит его кум, но потом призадумывается.

– Оно, пожалуй, молодым девицам не след ходить в такие места. Кум Филипон человек порядочный, спору нет, да только публика у него всякая собирается – и на язык не воздержаны, и руками могут озоровать...

– Не беспокойтесь, дядюшка Маливуар, мы скоротаем часок в каком-нибудь приличном кафе, а потом посмотрим витрины.

– Ну-ну. Только едва пробьет два часа, бегите во весь опор к фабрике. А то брошу вас здесь, и станете вы пением себе на хлеб зарабатывать!

Довольный своей немудрящей шуткой, дядюшка Маливуар удаляется, позвякивая бутылками в корзине.

Рене тянет на себя тяжелую дверь кондитерской.

В обители нам давали на десерт фрукты или пышки с теми же фруктами – по северной традиции яблоко целиком заворачивают в слоеное тесто и так пекут, и это очень вкусно. Но я никогда не пробовала корзиночек с пышной шапкой взбитых сливок, пирожков с земляничным вареньем, покрытых глянцевым кремом макарун, и «кошачьих язычков», пропитанных малагой. Я бы ни за что не вошла в такое место, где повсюду зеркала и позолота, а продавщицы так изящно одеты. И стеснялась бы, и боялась, что не хватит денег. Но Рене держится очень уверенно, заказывает нам по большой чашке шоколада и по два разных пирожных.

– Чтобы можно было пробовать друг у друга, – говорит она мне на ухо, и мы прыскаем от смеха. В обители, если бы мы шептались и хихикали за едой, сестры бы мягко одернули нас: следует испытывать уважение к хлебу насущному. А тут девушка-продавщица тоже улыбается, и посетитель за соседним столиком поднимает чашку кофе, будто салютуя, и белый кролик в витрине с корзинкой, полной шоколадных яиц, одобрительно таращится на нас глазами-пуговицами. Воздушный крем тает на языке, солнце играет в чисто вымытых витринах, теплый ветерок раздувает газовые занавески... Как хорошо! Рене снимает свою шляпку, сдирает с нее целый букет маргариток и прикрепляет скромную синюю ленточку. Теперь она выглядит по последней моде. А моя шляпка и вовсе скромна, так что я – большая щеголиха.

Вдруг в окно мы видим Луизу, и она не одна. С ней парень, одетый, как рабочий, но с претензией на щегольство. Он идет немного впереди девушки, а она спешит за ним, переваливаясь с ноги на ногу, словно утка. Луиза пытается взять парня под руку, но он вырывается. Она что-то говорит ему, у нее на лице багровые пятна, губы дрожат, волосы растрепались. Слов мы не слышим – Луиза произносит их очень тихо. А вот парень не стесняется.

– Да отвяжись ты! – кричит он на всю улицу. – Пристала как пиявка! Сказано тебе, иди к черту! Оставь меня в покое!

В кабачке напротив настежь раскрыты двери, столики выставлены на тротуар. Оттуда слышится свист и крик:

– Ну и грубиян!

– Эй, малышка, не теряйся! Иди сюда, сядь ко мне на коленки да выпей рюмочку!

Луиза некоторое время стоит как вкопанная, а потом поворачивается и медленно идет обратно, понунив голову. Мы с Рене переглядываемся.

– Плохи ее дела, – говорит моя подруга, многозначительно покачивая головой.

Я не понимаю, о чем речь, но мне очень жаль Луизу. Пирожные уже не кажутся такими вкусными, и даже последующая прогулка мимо нарядных витрин не доставляет удовольствия.

– Давай играть, – предлагает Рене. – Я играла в эту игру с мамой. Ты можешь выбрать с каждой витрины любую вещь, но только одну. Чур, по очереди!

Я соглашаюсь и выбираю накидку из серебристо-голубого меха, туфельки из коричневой кожи и огромный флакон духов «Пармская фиалка». А Рене «покупает» себе золотой дамский мундштук, рыжий шиньон и вечернее платье с декольте. Я смеюсь:

– Это уж чересчур!

– В том-то и смысл, – важно кивает Рене.

– Ах, так? Тогда я покупаю вон ту брошь размером с блюдце!

Как и предчувствовал папаша Маливуар, мы совершенно теряем представление о времени и приходим к воротам фабрики только без четверти три, увешанные воображаемыми драгоценностями, с гудящими ногами, изнемогающие от смеха. Луиза уже ждет нас, присев на край нагруженной повозки, ее лицо ничего не выражает. Еще с полчаса нам приходится подождать Маливуара. Он является, источая аромат смородиновой наливки и в превосходном настроении. Напевая «До чего же это мило – землянику собирать», Маливуар вывозит всю компанию за город. Мы уже начинаем клевать носом, прикорнув на штуках материи, как вдруг нас пробуждает что-то ужасно тревожное.

Луиза стонет. У нее блуждают глаза, волосы висят вдоль щек, рот запекся.

– Что с тобой? Тебе плохо? Ты заболела? – спрашиваем наперебой. Повозка уже катит по лесу. Но Луиза не отвечает и вдруг издает совершенно чудовищный, звериный вопль. Тесемки ее корсета распушены, и я вижу, какой у нее большой живот, он весь ходит ходунком...

И тут я понимаю.

– Папаша Маливуар, нужно ехать скорее!

– Ой, не-е-т, – мычит Луиза. – Ой, не могу-у! Сто-ой!

Но наш хмельной возница не откликается ни на просьбу ехать быстрее, ни на мольбу остановиться – он давно заснул, выпустил вожжи из рук. Лошадка, привыкшая к дороге, неспешно идет сама по себе. Я спрыгиваю с повозки и отвожу лошадь в сторону, под деревья. Луиза тоже спускается и ложится на траву. Юбки у нее мокрые.

– Кажется, ей легче, – робко говорит Рене. – Она больше не кричит и не стонет. Может быть, она не умирает? Может быть, она просто...

– Конечно, она не умирает. Она рожает, – отвечаю я.

Глаза Рене округляются.

– Что же делать? Ой-ой, что же нам делать?! Ей нужен доктор!

– Акушерка, – поправляю я. – Но взять ее неоткуда. Придется принять ребеночка самим.

– Нам? Но... Я не знаю, что делать! Я... Я ничего не понимаю!

– Я знаю. Кое-что...

– Откуда? – почти с возмущением спрашивает Рене.

Мне некогда объяснять. Я вспоминаю, что читала у Пинара. И понимаю, что не знаю ничего. Что я буду делать, если роды у Луизы пойдут не так? Если ребенок неправильно

лежит? А вдруг он застрянет и необходимо будет применить щипцы? А что, если у бедняжки начнется кровотечение?

Но я усилием воли заставляю себя прекратить панику. Роды остановить все равно невозможно, так что будем делать все, что можем. Впрочем, может быть... Я наклоняюсь к Луизе:

– Давно у тебя болит?

– С самого утра, – отвечает она. Сейчас ей, видимо, не больно, она говорит абсолютно нормальным голосом, и лицо у нее обычного цвета, не багровое. – А уж как выехали из Рубе, так мочи моей не стало!

– Что ж ты сразу не сказала? – ворчу я. – Там бы мы доктора нашли.

– Думала, перемогнусь.

– «Перемогнусь»... – передразниваю я.

– Не бросайте меня! – умоляет Луиза. – Помру ведь...

– Не бойся. Рене, у тебя есть нож?

– Зачем? – пугается Луиза. Наверное, решила, что я хочу ее зарезать.

– Откуда? – пожимает плечами Рене. – У Маливуара есть. Погодите минутку.

Она бежит к сладко похрапывающему дядюшке Маливуару и, обшарив его карманы, находит отличный, остро наточенный нож.

– Уже хорошо. А теперь возьми у него бутылку из корзины. Там только наливка?

– Есть и водка. Может, это и вода, конечно, прозрачное.

– Вода – у дядюшки Маливуара? Я бы удивилась. Давай сюда. И тряпок принеси.

– Тряпки-то у меня откуда?

– Рене! У нас полная повозка тряпок!

Каждую штуку материи на фабрике заворачивают в мягкую, тонкую ткань вроде ситца, вероятно, чтобы предохранить от выцветания. Рене сдирает несколько тряпиц и снова бежит ко мне. Тем временем я, решившись, задираю юбки Луизы и замираю. Я видела картинки и схемы, но это... Это слишком уж неожиданно. В свете яркого весеннего солнца раскрывается тайна пола: золотистые завитки, мягкие складки и багровая, пульсирующая щель. Я помню схему исследования, но не решаюсь его начать. В конце концов, я вряд ли что пойму. Вдруг Луиза начинает беспокойно метаться.

– Тянет... На горшок тянет, – смущенно бормочет она.

– Это хорошо, – облегченно выдыхаю я, найдя, наконец, за что зацепиться. – Это ребеночек хочет родиться и давит... Ну, туда.

– Ой-ей-ей, – воет Луиза.

Она вдруг необыкновенно ловко переворачивается и встает на четвереньки. Я что-то вижу... Что?

Святой Габриэль! Это же головка ребенка! Она то появляется между распухшими складками плоти, то снова скрывается, словно играет.

– Рене! – зову я. – Рене, он же вот-вот родится!

Но Рене не отвечает. Она сидит поодаль на травке, лицо у нее очень бледное, на лбу выступили крупные капли пота.

– Рене!

– Мне что-то нехорошо, – шепчет она. – Ты уж как-нибудь сама... Ой, кружится все...

У меня ничего не кружится – я стелю между напряженных ног Луизы кусок ткани. Не в силах ничем помочь, решаю не мешать. Насколько я могу судить, роды идут своим чередом, прямо по учебнику.

Головка снова показывается, я уже вижу затылок ребенка в мокром белесом пуху, шею, родничок волос и...

И сизую петлю пуповины, обвившую его шею.

– Луиза, – говорю я как можно более твердо и ласково. – Луиза, перестань тужиться! Слышишь?

Кажется, она меня слушается – или это просто кончилась схватка. Головка снова исчезла, видно только макушку. Руки у меня сильно трясутся. Что, если я поврежу ей что-нибудь? Что, если ребенок родится мертвым, задохнувшимся?

Но мне некогда предаваться раздумьям. Я хватаю бутылку водки и плещу себе на руки. А потом наклоняюсь над Луизой и втискиваю ладонь туда, где только что видела головку ребенка.

Мне повезло – у меня чувствительные руки. Несмотря на страшное сердцебиение, от которого меня словно подбрасывает, я ощущаю под пальцами голову ребенка, и шею, и тугую петлю пуповины. Я тяну ее, но она очень скользкая, сидит плотно. У Луизы снова начинается схватка – чудовищная, неподвластная уму природная сила стискивает мне руку, мне кажется, что пальцы вот-вот будут сломаны... Как ребенок переносит это чудовищное давление? Как он выдерживает?

Каким-то хитрым образом я подкручиваю петлю, и она соскакивает, мягко ускользает в глубь тела Луизы, и я наконец-то освобождаю руку. Луиза вопит, раскачиваясь и упираясь лбом в землю, и вдруг ребенок просто вываливается из нее. Это мальчик, насколько я могу судить. Он очень маленький. Он лежит на куске материи и не шевелится. От его живота пуповина все еще уходит в Луизу.

– Ох ты, господи! – стонет у меня за спиной Рене. Кажется, ее тошнит. Только этого не хватало! Но сейчас мне некогда возиться с Рене, даже если она простится со всеми уместившимися в нее пирожными! Я наклоняюсь к ребенку. Он не дышит. Мне страшно взять его в руки, он весь покрыт слизью и похож на сморщенную картофелину, залежавшуюся в погребе. Но я все же беру его, кончиком своего носового платка прочищаю ему рот, дую туда, осторожно нажимаю на ребра. В книге было сказано, что новорожденного надо перевернуть вверх ногами и шлепнуть по спине. Но я не рискую. Я точно уроню этого несчастного торопыгу, с его-то везением! Но все и так разрешается: он начинает пищать, мяукать, точно котенок, и, услышав этот писк, Луиза валится на спину и просит:

– Дай... Дай его мне!

У нее еще не восстановилось дыхание, слезы блестят на глазах, и все-таки она очень красивая. Я заворачиваю ребенка в тряпку и подаю ей. Потом вспоминаю, что у меня есть еще одно дело, поливаю водкой нож папаши Маливуара, который преспокойно храпит на козлах, отрезаю узкую полосу ткани от своего носового платка и перевязываю пуповину. Вдруг Луиза ахает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.